

В. Иванов

В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ



Из записок омского журналиста

Государственная публичная
историческая библиотека России

К 100-летию Великой российской революции

Всеволод Иванов

В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

(Из записок омского журналиста)

Москва
2017

УДК 94 (47+57)
ББК 63.3(2) 612
И 20

Печатается по изданию: Иванов В. В Гражданской войне. (Из записок омского журналиста)/В. Иванов.— Харбин: Заря, 1921.— 137 с.

Иванов В.

И 20 В Гражданской войне. (Из записок омского журналиста) / В. Иванов; предисл., коммент. К. Н. Цимбаева; Гос. публ. ист. б-ка России.— М., 2017.—206 с.— (К 100-летию Великой российской революции).

ISBN 978-5-85209-406-3

Всеволод Никанорович Иванов (1888—1971), русский писатель, историк, культуролог, представитель евразийского движения. Как журналист начинал свою деятельность в дореволюционный период в Костроме и Перми. Во время Гражданской войны был журналистом в Омске, работал в Русском бюро печати — пропагандистском органе правительства Колчака, был редактором «Нашей газеты», редакционные филиалы которой открывал в Томске и Новониколаевске (Новосибирске). С наступлением Красной армии писатель вместе с тысячами беженцев находился в отступлении с запада на восток, участвовал в Великом Сибирском Ледяном походе, был свидетелем трагического завершения борьбы белой армии на Восточном фронте.

УДК 94 (47+57)
ББК 63.3(2) 612

ISBN 978-5-85209-406-3

СВИДЕТЕЛЬ ВЕЛИКОГО ИСХОДА

Гражданская война — особая глава российской истории. Глава горькая и трагическая. Глава, которая и поныне, спустя без малого столетие, остается недописанной. Несмотря на обилие публикаций, появившихся за последние двадцать — двадцать пять лет и посвященных преимущественно Белому движению на его отдельных этапах, его вождям, героям и антигероям, целостная картина Гражданской войны в России не написана и в обозримом будущем едва ли будет написана. Вводимые в научный оборот новые — точнее сказать, давно забытые старые — источники, преимущественно воспоминания, дают возможность по-иному оценить отдельные события, выявить причинно-следственные связи явлений, что породили ожесточенную борьбу белых и красных. Однако и в современной литературе наблюдаются непримиримые разногласия, корни которых следует искать во времени Гражданской войны. Единственное, что можно твердо констатировать, это смена дискурса: если раньше, в советское время, безусловный приоритет отдавался победителям — красным, то сейчас отдается должное тем, кого прежде в немалой степени игнорировали,— белым. Правда, как прежде, так и теперь, речь идет, как правило, о воссоздании и оценке внешней канвы событий, красной и белой идеологии, тогда как много меньше внимания уделяется анализу повседневности, той реальности, в которой жили, действовали и умирали непримиримые противники.

Достойное место в истории Белого движения справедливо занимает Великий Сибирский поход. Именно так назвали события осени 1919 — зимы 1920 г. участники отступления колчаковских войск. Сразу по окончании похода был

учрежден Знак отличия Военного ордена «За Великий Сибирский поход». Им награждались все солдаты и офицеры, что прошли тяжкий путь отступления от Омска до Читы. Было у Великого Сибирского похода и другое, неофициальное название — Ледяной поход, в котором каппелевские части в январе — феврале 1920 г., уходя от преследования красных, совершили беспримерный переход по льду реки Кан, а затем и по льду Байкала.

Предыстория Великого Сибирского похода может быть отнесена к событиям весны 1919 г., когда, заняв Урал, колчаковские армии вышли к Каме и средней Волге. Развить успех в движение на Москву белые не смогли. Передовые части были оторваны от тылов и снабжения, население поддерживало красных. После того как чехословаки самовольно оставили фронт и начали по железным дорогам отходить на восток, Красная армия перешла в наступление. В короткое время от белых были очищены Поволжье и Урал, военные действия переместились в Сибирь.

Первоначально отступление войск адмирала Колчака носило планомерный и организованный характер. Вместе с армией в богатую хлебородную Сибирь двинулись массы беженцев, уходивших от ненавистной им советской власти. Из Европейской России за Урал перешло не менее полумиллиона человек. Предполагалось, что центром сопротивления станет Омск — местопребывание Верховного правителя и его правительства. На короткое время Омск стал символом Белого движения и сопротивления «красному зверю». Однако неудачные военные действия под Омском привели к его эвакуации в ноябре 1919 г.

Началось безостановочное отступление колчаковских войск, которых сопровождали десятки тысяч беженцев, вдоль Транссибирской железной дороги. Плохо организованное и руководимое, отступление безмерно осложнялось тем, что на железной дороге хозяйничали так называемые «союзные войска»: чехословацкие, польские, сербские, румынские, латышские части, цель у которых была одна — уйти из России и добраться до Владивостока. «Союзники» ехали эшелонами, белые передвигались по большей части в обозах, слева и справа от полотна железной дороги. После тяжелого поражения под Новониколаевском исход борьбы стал очевиден. Отступление стало неуправляемым. Начал-

ся собственно Великий Сибирский поход, когда при лютых сибирских морозах, частично по бездорожью, преследуемые красными и атакуемые партизанами, войска Восточного фронта проделали путь длиной более чем 1500 верст. При отступлении, в сибирской тайге, отставали, замерзали и гибли обозы с женщинами и детьми, больными и ранеными...

В.А. Кислицын свидетельствовал: «Линия железной дороги была в это время забита отходящими чехословаками, сербами, румынами, французами и поляками.

Все эти наши «союзники» стремились сохранить свое положение на железной дороге и отступать с бо́льшим комфортом, чем отступали хозяева — русские. Захватывая исправные паровозы и подвижной состав, «союзники» двигались от станции к станции, требуя силой отправки их эшелонов в первую очередь. Своим самоуправством они вносили дезорганизацию в движение и мешали высшему нашему командованию руководить отступлением своих войск и эвакуацией тыловых учреждений. Даже эшелонам высших русских штабов и переполненным больными, обмороженными и раненными людьми санитарным поездам не позволяли двигаться в свою очередь эти стремившиеся удрать от красных «союзники». Никакие приказы и уговоры нашего командования «союзники» в расчет не принимали. В стремлении двигаться по железной дороге в первую очередь опирались на свои вооруженные силы. Создавалась анархия»*.

В середине декабря адмирал Колчак назначил главнокомандующим Восточным фронтом генерала В.О. Каппеля, который имел безупречную боевую репутацию, пользовался непререкаемым авторитетом в войсках и слыл «рыцарем Белого движения». Переломить ситуацию Каппелю не удалось, хотя в определенной степени он сумел сплотить деморализованные части. Боевой генерал В.А. Кислицын, проделавший весь Великий Сибирский поход верхом, следующим образов характеризовал ситуацию в колчаковских войсках к моменту назначения Каппеля: «Очевидно, этими переменами на верхах хотели достигнуть каких-то улуч-

---

* Кислицын В.А. В огне Гражданской войны. Мемуары. Харбин: Изд-во «Наш путь», 1936. С. 62—63.

шающих наше безнадежное положение результатов, но все было тщетно; никакие перемены не могли уже спасти армию. Армии больше не было. Она за время длительного отступления превратилась в какой-то обоз, стремительно откатывающийся на восток. Вместо воинских частей и боевого похода было какое-то переселение народов. Во многих частях воинский вид людей был утерян. Вместо солдат были какие-то вооруженные беженцы. Вера в себя и свои силы упала окончательно. Одно стремление господствовало над душами этих людей — уйти как можно скорее и как можно дальше от двигавшегося сзади красного ужаса»*.

Потерпев неудачу под Красноярском, гарнизон которого предательски перешел на сторону красных, каппелевские части, разделившись на две колонны, продолжили отступление. Колонна, во главе которой стоял сам Каппель, проделала Ледяной поход по реке Кан, на исходе которого генерал провалился в полынью и отморозил ноги. Проведенная в походных условиях ампутация ног и воспаление легких привели к кончине Каппеля 26 января 1920 г. Накануне он сдал командование С.Н. Войцеховскому. Ледяной поход избавил каппелевские части от опасности окружения. Под командованием Войцеховского они подошли к Иркутску и готовы были штурмовать город, чтобы освободить находившегося там под охраной «флагов пяти союзных держав» адмирала Колчака. Однако адмирал был выдан чехословаками красным и 7 февраля расстрелян. Отказавшись от штурма Иркутска, каппелевцы обогнули город и в середине февраля перешли Байкал. Всего Байкал перешло около 35 000 человек, среди них женщины и дети, которые на другом берегу озера были посажены в эшелоны, где разместились также больные и раненые. Остальные продолжили конно-пеший поход до Читы, куда пришли в начале марта 1920 г.

Уникальным свидетельством о Великом Сибирском Ледяном походе стало описание, сделанное сразу по его окончании участником похода, прошедшим весь путь от Омска до Читы журналистом и писателем Всеволодом Никаноровичем Ивановым. Его «записки омского журналиста» — репортаж о повседневности Великого Сибирского похода, о

* Кислицын В.А. Указ. соч. С. 62.

трагедии бытия, когда, по его словам, «вставала Гражданская война, не война двух фронтов, хотя и русских, а война бродяжническая, сутолошная, война всех против всех».

* * *

Всеволод Никанорович Иванов родился 7 сентября 1888 г. в городе Волковыске Гродненской губернии. Окончил гимназию в Костроме и в 1906 г. поступил на историко-философский факультет Санкт-Петербургского университета. Его интересовали история и философия истории, он имел несомненное писательское дарование. Будучи студентом, он слушал лекции в немецких университетах — знаменитом Гейдельбергском и Фрайбургском. Петербургский университет он окончил в 1912 г. Надежды на продолжение научных занятий оборвались с началом Первой мировой войны. Как прапорщик запаса он был призван в армию и проходил военную службу в Перми. Осенью 1917 г. он был произведен в подпоручики. В армии Иванов не прекращал литературных занятий и написал цикл рассказов «Любовь и служба Касьянова».

После Февральской революции, которую он понимал как победу демократических сил, Иванов был избран членом полкового комитета, что, несомненно, свидетельствует о желании молодого человека находиться в гуще событий. Разочарование наступило осенью 1917 г., когда к власти в стране, по его позднейшей оценке, пришли силы разрушения. С февраля 1918 г. он начал работать на кафедре философии права Пермского отделения Петербургского университета. Одновременно он сотрудничал в периодических изданиях, несогласных с советской властью.

После занятия Перми белыми в декабре 1918 г. он снова был мобилизован и назначен на работу в газету «Сибирские стрелки», а затем освобожден от службы по ходатайству Пермского университета. События Гражданской войны привели В.Н. Иванова из Перми в Екатеринбург и далее, по мере отступления колчаковского Восточного фронта, в Омск. Университетское преподавание было оставлено, и знаток философии права становится журналистом. В июне 1919 г. по приглашению профессора Н.В. Устрялова он стал работать в «Русском бюро печати» — органе колчаковского

правительства, который издавал газеты, печатал плакаты и воззвания и вел активную, хотя и малоуспешную пропаганду идеалов Белого движения. В Омске печаталась «Наша газета», тираж которой достигал восьмидесяти тысяч экземпляров, что по условиям того времени следует признать значительной цифрой. Статьи и репортажи В.Н. Иванова быстро сделали его значительной фигурой белой журналистики.

По окончании Великого Сибирского похода, с марта 1920 г. по май 1921 г., В.Н. Иванов сотрудничал в газетах города Харбина. С мая 1921 г. он издавал и редактировал «Вечернюю газету» во Владивостоке и был близок к кругам белого Приморья. В октябре 1922 г. он покидает Владивосток и эмигрирует. В эмиграции он жил преимущественно в Харбине, где был одним из руководителей газетного и журнального дела.

Жизненный путь и идейная эволюция В.Н. Иванова были достаточно извилисты. В первые эмигрантские годы он разделял учение евразийцев, небольшой группы молодых ученых, которые, оказавшись в эмиграции на Балканах, стремились отмежеваться как от белых, так и от красных, и утверждали евразийство — учение об особом пути развития безбрежного пространства Евразии, предопределенном, прежде всего, географией.

В 1923 г. Иванов издал книгу «Мы», имевшую подзаголовок «Культурно-исторические основы русской государственности». В ней он в духе евразийства говорил об особом месте России между Европой и Азией. В 1925 г. он обратился в советское консульство в Харбине и предложил свои услуги по сотрудничеству в советских периодических изданиях и ТАСС. Его статьи о китайских событиях печатали «Правда» и «Известия». В разные годы он редактировал русское издание официальной газеты китайского правительства и газету, которую советское посольство в Китае издавало на русском и английском языках. Одновременно он принял участие в создании в 1932 г. «Русского Общества в Маньчжурии и Монголии» и был одним из его руководителей. По свидетельству современного исследова-

теля, в Обществе «преобладали сторонники великого князя Кирилла Владимировича и атамана Семенова»*.

В 1934 г. В.Н. Иванов познакомился с Н.К. Рерихом, вступил с ним в многолетнюю переписку и вскоре стал авторитетным интерпретатором творчества этого художника и мыслителя, который высоко ценил его историософские труды. Здесь нет необходимости перечислять многочисленные литературные и философские работы В.Н. Иванова, автора исключительно плодовитого. В начале 1945 г. из Хабаровска было организовано вещание на Харбин и Маньчжурию якобы подпольной эмигрантской радиостанции**. В ее передачах В.Н. Иванов принимал самое активное участие. К этому времени он получил советское гражданство и перестал быть эмигрантом. По возвращении в Советский Союз много ездил по стране. Им были написаны романы и повести о китайской революции, о сибирских первопроходцах, о Рерихе, Петре I и Екатерине II. Незадолго до смерти он завершил роман о Пушкине и его времени.

В.Н. Иванов жил в Хабаровске, умер 9 декабря 1971 г.

Среди современных философов, культурологов и историков литературы идейное наследие В.Н. Иванова вызывает определенный и все более растущий интерес. По мнению некоторых авторов, в жизни и творчестве В.Н. Иванова немало тайн. В последние годы его нередко представляют многолетним сотрудником советской военной разведки либо советским агентом влияния в харбинской эмиграции. Одна из недавних публикаций сенсационно озаглавлена: «Первым Штирлицем был Всеволод Иванов». Известных документальных свидетельств в пользу данного утверждения нет. Равно как нет и подтверждений обратного.

* * *

Впрочем, как ни судить о дальнейшем пути «первого Штирлица», его книга «В Гражданской войне», изданная в Харбине в 1921 г., не дает оснований для двусмысленных толкований и сомнений. Ее автор, «омский журналист»,

---

* Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае. Международные и политические аспекты истории (первая половина XX в.). М.: Русская панорама, 2005. С. 197.

** Там же. С. 322.

Всеволод Никанорович Иванов, верен Белой идее, предан Белому делу. Он активно участвует в Белом движении и полон ненависти к «красному зверю». Его «записки» — не дневник, регулярное ведение которого едва ли было мыслимо в дни Великого Сибирского похода, не воспоминания, которые отстоят от описываемых событий на дистанцию, измеряемую годами и десятилетиями, но документальный репортаж о событиях, еще не закончившихся. Недаром автор пишет, что Гражданская война не окончена, что это «олицетворение большевизма» не остановится, «пока не изжит сам большевизм».

Иванов — автор как бы един в трех лицах. Журналист-репортер делает беглые зарисовки, фиксирует случайные разговоры, рассказывает о героях, глупцах и предателях. Писатель дает лирические картины пустынной Барабинской степи, величавой сибирской тайги, заснеженных елей и ледяных торосов Байкала. Несколькими фразами он умеет выразить печаль, безнадежность, обреченность «движения на Восток». Наконец, он пытается разобраться в политических хитросплетениях и — философ права! — предугадать будущий путь развития России.

Время написания записок о Гражданской войне устанавливается достаточно определенно: лето — осень 1920 г. Осев на время в Харбине и до определенной степени отрешившись от страшных реалий Великого Сибирского похода, В.Н. Иванов в короткий срок запечатлел на бумаге то, что многие видели, знали и помнили, но стремились забыть. Гражданская война — здесь Иванов прав — продолжалась. Летом он узнал о расстреле по приговору революционного трибунала одного из руководителей Русского бюро печати и своего единомышленника А.К. Клафтона, но ему не было известно, как сложились судьбы многих других, белых и красных, Казагранди и Рогова. Он следил за ходом советско-польской войны и знал о патриотическом обращении генерала А.А. Брусилова к российскому офицерству. Первая фраза записок — «Вот уже год, как пал Омск» — могла быть написана, скорее всего, по завершении работы над основным текстом в середине ноября 1920 г., в то самое время, когда на Дальний Восток пришли обстоятельные известия о том, что армия Врангеля оставила Крым. Однако, хотя выход книги датирован 1921-м

годом, ее автор ничего не знал о событиях марта этого года: ни о восстании кронштадтских матросов, ни о X съезде партии большевиков, после которого круто изменилась экономическая политика советской власти, что выразилось в провозглашении НЭПа.

Возможно поэтому, подводя итоги, Иванов ошибается в политических предсказаниях. Ему очевидно чужда мелкая возня «семеновских деятелей» на Дальнем Востоке, но он идет гораздо дальше и провозглашает: «в русском обществе умерли и классы, и партии, как умерло и само государство». Вывод, надо признать, предельно неточный, хотя психологически понятный для тех, кто на протяжении 1917—1920 гг. пережил крушение традиционной российской государственности, калейдоскопическую смену властей, режимов и правительств, которые, говоря словами автора, «возникали, как пузыри на воде после дождя, и так же скоро лопались». Однако в конце 1920 г., особенно на фоне укрепления власти Советов, было опрометчиво утверждать, что «распад непредотвратим». Правда, для понимания будущей идейной эволюции Иванова уместно отметить его готовность признать, что, кроме советской власти, «нет никаких признаков государственности». Надежды Иванова связаны с вызреванием некоей идеи «народной солидарности». Он полагает, что бедствия Гражданской войны, беженства, поголовного мора и случайных смертей «переносил весь народ, демос без различия классов и национальностей».

Парадоксальный вывод автора книги о Гражданской войне: «То, что описано здесь,— должно быть отнесено к чистейшему виду демократизма. И совсем странно связывать рождение будущего «живого государства» с «огромным процессом атаманства». Перечисляя красных и белых атаманов, от Щетинкина и Махно до Семенова и Унгерна, автор провозглашает: «Как рыцарские замки, по всей России высятся теперь эти уделы атаманов, и центральная власть уже теперь должна лавировать между их силой и их претензией. Их сила грядет». Прогноз фантастический и страшный. Зловещая утопия.

Неверно и утверждение, что народу не нужна идеология, кроме той, «старой», которая заключается в слове «Царь».

В исторической перспективе обоснован авторский вывод, хотя он и не был услышан его современниками: «Видно, как в процессе Гражданской войны выдвигаются самой жизнью лозунги, далекие от революционной фразеологии, библейски простые по своему содержанию, но тем не менее кондовые, крепкие, как кость, как скелет. Это — личная свобода, независимость от гнета «коммунии», наконец, право собственности как совокупность всех этих прав».

Упрекать Иванова в неточности или утопичности его политических предсказаний не приходится. Но надо признать, что на будущее он смотрел без боязни, широко открытыми глазами. Его собственная судьба оправдала некоторые из его ожиданий.

* * *

Записки В.Н. Иванова «с великой болью» посвящены светлой памяти трех деятелей Белого движения, кто недавно и при разных обстоятельствах ушли из жизни: адмиралу Колчаку, профессору Болдыреву и Клафтону.

Имя А.В. Колчака, о котором автор неизменно пишет — «благородный», не требует пространных комментариев. Можно отметить, что автор стремится отмежевать Колчака от колчаковщины, с ее бездарными деятелями, военными и гражданскими, что бесславно сдали Омск и обрекли на гибель как самого адмирала, так и десятки тысяч людей, вверивших им свою судьбу. Иванов не был посвящен в механизм принятия политических и военных решений, но как журналист он знал достаточно, чтобы приводить факты некомпетентности, нераспорядительности и безразличия начальников всех рангов. Его зарисовки, будь то закат и оставление Омска, развал армии «начальствующими лицами», предательство генерала Зиневича — точны и убедительны. Крайнюю неприязнь вызывали у него «мстительные эсеры», отворявшие «демократические ворота, куда лавой лились большевики», и чехословаки, чьи «главари», сводившие счеты с адмиралом, совершили «колоссальнейшее предательство». В книге разбросаны ясные намеки на то, что к разыгрывавшимся по всей Сибирской магистрали «кровавым предательским драмам» причастны эсеры и чехословаки.

Рефреном книги стали услышанные Ивановым слова Колчака: «Самое страшное — это большевизм в душах».

О душах православных верующих заботился университетский профессор и религиозный философ Д.В. Болдырев, который был заметной фигурой омской общественности. Он обладал даром ораторского слова, умел увлекать массы простых слушателей и пытался формировать из местного населения православные дружины Зеленого знамени для крестового похода во имя борьбы с безбожным большевизмом. Правда, по свидетельству самого Иванова, дружины эти были немногочисленны и не принимались в расчет военным командованием. В данном контексте интересны и ценны наблюдения автора над «тугой жизнью» сибирской глубинки, которая не хотела знать ни белых, ни красных. Безвременную смерть Болдырева, арестованного вместе с Колчаком и умершего в иркутской тюрьме, Иванов, видевший в нем своего наставника, воспринял как личную утрату. Особенно горькую потому, что другой его наставник и единомышленник, Н.В. Устрялов, уже в первые месяцы харбинской эмиграции вступил на путь принятия большевизма и стал символом «устряловщины».

Видному кадету А.К. Клафтону, под чьим руководством он работал в Русском бюро печати, Иванов посвятил немало прочувствованных строк, подчеркивая его проницательность и верность долгу. По мнению автора, расправа большевиков над Клафтоном, который был повинен в формировании антибольшевистского общественного мнения, прямой укор Устрялову и «устряловщине». Пропагандистские усилия Клафтона в определенной мере оправдались на той стадии «стихийного шествия на Восток», когда под руководством Каппеля армия, отбросившая «ненужные элементы», уже «не отступала, а непрерывно наступала», став организованной силой. Фундаментом этой организации «служила абсолютная непримиримость с советской властью самой широкой, демократической двигавшейся массы».

Задаваясь вопросом, кто были люди, что явно или тайно вредили Белому движению,— предатели или глупцы,— автор склонен полагать: «были, конечно, предатели, но, по большей части, то были глупцы». Примеров глупости, даже искренней глупости, в книге немало, что не делает ее содержание менее трагичным. Иванов-литератор часто при-

бегает к контрасту: он описывает ужасные сцены, когда дровни с женщинами и детьми скатывались в глубокие обрывы с диких красноярских сопок и погибали там, как умирали, истекая кровью, раненые. И рядом другая картина: «В это время подошел чешский эшелон. В классных вагонах были освещены все окна, оттуда доносилось женское пение, граммофон. Так они встречали Рождество».

В книге немало места отведено описанию комфортного движения «союзных» эшелонов и бедственного положения пеших беженцев. Автор не упускает возможности рассказать и о том, как уютно ехали колчаковские министры, одному из которых в вагоне-ресторане не хватило яблочного суфле. Здесь с Ивановым был вполне солидарен Устрялов, не без иронии описавший путешествие премьер-министра разных сибирских правительств, включая колчаковское, Вологодского: «Сам Петр Васильевич Вологодский с женой, дочкой и бесконечными тюками багажа — милейший, добрейший и честнейший, но Боже, до чего мало соответствующий представлению о политическом деятеле и тем более главе правительства! Только что пережитая трагедия крушения власти, которую он так долго возглавлял, крах движения, с которым он так тесно был связан,— все это словно прошло мимо него. Заботливо пересчитывал он свои тюки, спал, пил чай, обедал с чувством, с толком, с расстановкой и часами играл в дурачка со своей шумливой, незатейливой супругой и шестилетней дочкой»*. К сказанному можно добавить, что сам Устрялов ехал в одном вагоне с Вологодским. В отличие от него, В. Иванов проделал Великий Сибирский Ледяной поход то в тифозных теплушках, то в составе Добровольческого конного отряда, то пешком, то в санях.

Записки Всеволода Иванова «В Гражданской войне» — бесценное и, стоит повторить, уникальное свидетельство незаурядного очевидца о событиях, которые потрясли мир и стали горькой страницей истории России. Они заслуживают того, чтобы их узнал современный читатель.

К. Н. Цимбаев,
кандидат исторических наук

---

* Устрялов Н.В. 1919-й год. Из прошлого // Русское прошлое. 1993. Кн. 4. С. 269.

Светлой памяти адмирала Колчака, проф. Дм. В. Болдырева и А. К. Клафтона с великой болью посвящает эти записки автор[1].

Вот уже год, как пал Омск[2]. Пал так неожиданно, так бесславно, так легко, что едва ли победа эта вплела новые лавры в венок беспардонных победителей.

Мне, к сожалению, не попадались под руку те №№ советских газет, в которых «они» описывали свои триумфы,— но не думаю, чтобы триумфы эти были чрезвычайны. Правда, наверное, подчеркивался народный характер этого падения, оттенялась легкость занятия городов по телеграфу; но как люди умные, дальновидные и хитрые, властители современной России не могли не понимать, что падение Омска не значило падения омского дела.

Истекший год принес много упреков, много злобных слов по адресу Омска. Окончание «щина», вместе с «зубатовщиной», «атаманщиной», «керенщиной», революционным манером образовало «колчаковщину». «Колчаковщина» в том проклятом, широком просторечии, которое, как фон, образует собою подоплеку политики момента, означает бездарность отдельных лиц, стоявших у власти, незначительность сил и дарований, старые методы управления, восстановление старого, механическое, безотчетное гальванизирование безвозвратно умершего и сохранившегося лишь в сибирских захолустных головах бесконечное фан-

тазерство беженского элемента, смотревшего на свое пребывание в Сибири как сытое, приятное историческое partie de plaisir, невдалеке от правительства, с честью и удобствами, и, наконец, чеховское — «в Москву, в Москву»,— слово, владевшее всеми, от первого генерала до последнего солдата. А затем, и по преимуществу — это интриги, интриги и интриги всех и против всех[3].

Все это и называлось, и называется «колчаковщиной». Но как только попытаемся мы эту интеллигентски-презрительную приставку срастить с именем покойного адмирала, то сразу увидим, что она отскакивает от него, как масло от воды...

В трагедии незаметной и обыденной последних дней Омска, в этой поднявшейся мути полнейшей неосведомленности, эвакуационно-панических настроений, слухов, в чехарде высоких лиц, поспешной сменой бестолково старавшихся спасти положение, было, однако, несколько блестящих, высоких, трагически простых моментов.

В августе месяце 1919 г. собравшийся в Омске Казачий круг объявил мобилизацию сибирских казаков. Торжественное заседание этого круга в присутствии Верховного правителя было назначено в театре «Аквариум». Толпы по обыкновению обедавших в «Аквариуме» в этот сияющий, тихий, праздничный день немало были смущены, когда большое помещение было закрыто для публики... Обедавший со мной пышноволосый, декоративный чиновник Министерства иностранных дел и поэт Валерий Язвицкий, страшно, по обыкновению, торопился и убежал на круг часа за два до его начала[4].

Пошел и я. В черном сюртуке, выбритый, так не вязавшийся с летним днем, И. Н. Шендриков пропустил меня[5]. В здании летнего театра было полутемно, со струйками солнца как на сеновале, многолюдно. Пришлось, по обыкновению, ждать. И вот в сопрово-

ждении блестящей свиты среди белых платьев дам, с только что сегодня врученной булавой в руках, прошел атаман П. П. Иванов-Ринов[6].

Начались речи. Б. предсовмина П. В. Вологодский долго выкрикивал беззубым ртом об «угнетении», «угнетенной Сибири» и свободную Сибирь полагал исключительно именно в сотрудничестве со свободной Россией[7]. Милый А. И. Булдеев, редактор «Сибирской речи», торопливо за сценой-«павильоном» натягивал сюртук, в котором и произносил свою речь[8]. Звонка, необычайна по своему содержанию была речь безвременно угасшего Дм. В. Болдырева о большевизме, как силе дьявольской, и о Св. Кресте, как оружии против него. «Не пройдет и двух недель,— заключил он с большим подъемом,— и вы услышите, как встанут на защиту новые силы, силы Св. Креста».

И вот среди невероятного разнообразия этих речей, начиная от библейского тона Болдырева и до кокетливо-игривого «мы казаки-простаки, красно говорить не умеем» — ген. Хорошкина,— публика и депутаты встали[9]. Взошел адмирал. Сутулая фигура, в неловко сидящем защитном френче, в еще более неловких больших сапогах. Глухой, отрывистый голос адмирала говорил прямо и просто:

«Я один ничего не в силах сделать. Я звал и зову всех, кто любит Россию,— к ней на помощь. Делайте же... Казаки вот начали, и это хорошо».

Что можно было сказать против этих умных слов!

Несколько недель спустя С. Ауслендер передавал мне о том огромном впечатлении, которое произвела на него речь Верховного на собрании беженцев в зале женской гимназии[10]. Актовый зал был набит битком, но не омской публикой, а беженцами. Собрание соответственно этому происходило в более повышенной атмосфере. После речей таких вождей беженства и старообрядчества, как Мельников[11], как талантливый беллетрист П. К. Дробинин, точно так же вышел ад-

мирал. На этот раз его речь была еще более мрачна по содержанию; он беспощадно констатировал у широких кругов русского общества полное отсутствие и способности, и желания делать свое непосредственное дело.

«Вы можете вернуться в свои родные места,— говорил он,— но это зависит только от вас самих и от вашего желания. Никто не может помочь вам, кроме вас самих. Берите в руки ружья...»

Эпитет «благородный» к имени адмирала Колчака узаконен уже обычаем, и это приращение упорно мешает «колчаковщине». Не в Колчаке, видно, дело, почему пал Омск: Колчака винят только те, которые единственно принудительную диктатуру считают единственным средством для избавления от всяческих бед; если покойный адмирал и мыслил диктатуру, то единственно в форме не насилования чужой воли, а в виде ее зажигания, увлечения с собой.

Зажигание русской воли! Не об огнеупорности ли ее плачет теперь на груди у Ленина Максим Горький? Воля эта никак, упорно не хочет загораться. Вся русская революция до сих пор была свидетельницей этого; не загорается она и теперь, хотя Ленин, как таран, по выражению Горького, разбивает вековые, сложившиеся устои, бедствиями вызывая ее на это, и в этом сильнодействующем средстве удивительно сходясь с покойным М. О. Меньшиковым, в одном из своих фельетонов голод называвшим стимулом к работе для русского человека[12]. Вы, конечно, легко поймете, сколько дружной брани обрушилось тогда на голову Меньшикова, хотя бы со стороны социал-демократического «Современника» с Максимом Горьким.

Адмиралу глубоко противно было насилование воли, как глубоко противно было и безволие. Зажигать он не мог: он был человек личного долга, способный не покинуть своего поста, с честью умереть, что

он блестяще и доказал. Демагогом он сам быть не мог. И поэтому, может быть, как говорил С. Ауслендер, в его речи звучали такие ноты: не хотите — так как хотите — черт с вами.

И если говорить об Омске как о «колчаковщине», тем самым выдвигая на первый план фигуру Колчака, то это служит и оправданием омского дела: если и погиб Омск, то не значит, что погибло то, о чем говорил и думал этот угрюмый, нервный, честный и добрый человек, адмирал Колчак[13].

Прошел год, и мы видим, что положение ничуть не изменилось. Сменились люди, территория, действующие силы, но проблемы остались нетронутыми. Мы так же далеки от гражданского мира, как были и в Омске, если еще не дальше: там надежда сломить большевиков организованным как-никак фронтом несла за собою смену большевизма чем-то готовым. Раздробление фронта вызвало не прекращение Гражданской войны, а просто стихийное разлитие ее по всему пространству, ибо нет налицо организованной победы большевизма. Гражданская война, это олицетворение большевизма, и не могла остановиться, пока не изжит сам большевизм.

Зато тем ярче выдвигаются лозунги, под которыми мог подписаться хороший, честный Омск, живой Омск, Омск адмирала Колчака как личности, Омск того воодушевления, тех первых взрывов воодушевления, которым сопровождались первые его успехи и которые просачивались даже к нам туда, в Москву, сквозь китайскую стену большевистской цензуры. Омск не такой, каким он был в летописях злопамятных, все критикующих людей, а такой, каким он *должен быть*, Омск сходивший, как некая определенная власть на освобождаемые города, со своими активными борцами, со своим офицерством, своим солдатством, честными мобилизациями интеллигенции — такой Омск не изжит, да и не может быть изжит: его

время — впереди, не как, конечно, географического центра, а как комплекта морально-политических чаяний и понятий. Но для этого надо выстрадать его.

В нем была и сила, и жизнь.

Попытки советской власти в мае, июне и в июле месяцах текущего года вздувать национализм — что это, как не реминисценция Омска? — Роль Брусилова — что это, как не работа под патриотизм патриотов Омска? А война с поляками и ее лозунги,— что это, как не Омск с обратным знаком, Омск антихристов? — Поверьте, большевики, которые всегда отлично учитывают силы врагов, не взяли бы оттуда орудия себе, если бы слабым было это орудие![14]

Это для них. А для нас? — Теперь здесь, на Дальнем Востоке, стоя перед неудержимо рассыпающейся храминой русского дела,— разве мы не видим, что те же кличи зовут к объединению и, увы, все те же силы мешают общему делу, что и в Омске. Разве лозунги Врангеля не зрели в недрах Омска?[15] Не повторялся ли земельный закон ген. Врангеля в том виде, каким бы он был, в Омске, если бы тому не помешали то дикие знаменитые выходки недоброй памяти ген. Лебедева на заседании Совета министров, то скопища таких безрассудных и неспособных к политике зубров, вроде Союза землевладельцев[16].

Но длятся не только идеи Омска, не только живет он у нас и у них; продолжается и трагедия Омска, трагедия безволия и неспособности русских людей к простой и дружной работе. Разве разыгравшаяся у нас на Д. В. история с претензией ген. Лохвицкого на пост командарма Каппелевской армии — не типичная омская история, с тою только разницей, что тут она вызволена на свет Божий прессой,— чего нельзя было сделать в Омске?[17] А трения дальневосточных разных кругов между собой, а борьба за власть не самых крупных персонажей, нет, они достаточно умны,

чтобы не держаться за нее, а тянущих к ним безответственных элементов, думающих этим подогреть свое положение и этим только компрометирующих своих патронов?

Все это есть, и трагедия Омска перманентна, т. е. остается. И потому — писать об Омске — об его последних днях — не значит писать историю былого, ушедшего в прошлое, а значит писать все то же: о подымающихся и падающих надеждах, о гибели смелых и сильных людей, о кознях им из коварства, злобы, расчета, а больше глупости, о средствах борьбы, ее удачах и неудачах, одним словом — о печальных и радостных этапах, по которым идем мы разными путями, но все к одной цели — великой России.

I

ПЕРЕД КОНЦОМ. ПО ГОРОДАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Конечно, повторилась обычная история. Никто не знал ни дня, ни часа, когда разразится катастрофа. И если сматывались и благополучно уезжали чехи, французы, если серебристо-белый обаятельный капитан Субьербьель еще в июле устраивал прощальные обеды a la russe, с водкой и кулебяками, то нам, простым смертным, этого знать было не дано. Все это «сеяло панику».

Чего там — паника! Приходит раз капитан при штабе ген. Нокса[18] Мак Калла (Mac Kullah) в Бюро печати и говорит пишущему эти строки:

— А вы не знаете? Скоро вы уедете из Омска?

— Почему?

— Дело идет очень плохо. Ленин и Троцкий работают, как черти. А у вас только ссорятся...

Что тут было делать? — Пришлось развести руками, сказать несколько истин насчет переменчивости военного счастья, но капитан Мак Калла поехал-таки домой через Советскую Россию, после чего и опубликовал в Англии свои сведения об убийстве царской семьи...

Даже больше того. Нельзя было использовать грозившую опасность для известной пропаганды. Когда

еще в июле месяце, в связи с крепнувшими успехами большевиков в Сибири и головокружительными успехами генерала Деникина, порождавшими в известных омских кругах опасения, как бы он, спаси Господи, не пришел раньше нас в Москву[19], возникла вполне понятная мысль, что большевики лезут в не знавшую большевизма Сибирь для того, чтобы проложить себе дорогу в Афганистан из угрожаемой Москвы — наше Бюро печати выпустило афишу. В ней в довольно ярких выражениях было указано, как врезается «*В Сибирь, за хлебом*» Красная армия — (между прочим, *лозунг был угадан*), описывалось, как подходит к Москве Деникин, и заключалась она призывом к сибиряку-мужику — взять в руки винтовку и защищать свое достояние. Расклеена афиша эта была по Омску утром ижевцами и воткинцами, которые вообще занимались у нас агитационной работой, привлеченные и сорганизованные неутомимой гр. А.Н. Ланской, как вскоре оказались и следствия. Начались звонки по телефону от разных лиц, а пуще учреждений — с запросами — нами ли выпущена афиша.

— Нами!

На это указывалось, что она производит «обратное действие». Обыватель пришел в панику, вследствие чего на рынке на 40—50% понизились в цене товары. В банках стали выбирать вклады. А часов в 10 к нам уже прилетел на автомобиле милейший ген. Рябиков, второй генерал-квартирмейстер Штаба Верховного главнокомандующего[20].

Началось обсуждение афиши. И если Н.В. Устрялов[21] тогда соглашался, что она резковата, Д.В. Болдырев мрачно шагал по кабинету, то в лице А.К. Клафтона, расстрелянного, как известно, «за организацию общественного мнения»,— афиша нашла себе горячего защитника.

— Хорошо, я так и доложу ген. Лебедеву,— сказал, наконец, ген. Рябиков, когда Клафтоном были

исчерпаны все доводы. Только знаете ли что? Вам лучше выпустить какую-нибудь другую афишу, да и заклеить эту. Ну ее, знаете, к Богу.

Русское Бюро печати контрафиши не выпустило. Выпустил ее «Осведверх», это удивительно никчемное учреждение, тогда возглавляемое ласковым полковником Клерже[22]. Но так как выпуск этот шел в «срочном порядке», через все инстанции, то поспел только через несколько дней. Конечно, в них было написано «ничего подобного», и налеплены они были уже на лохмотья наших афиш.

Таким образом, легко понять, что никто не знал ни дня, ни часа, когда разразится катастрофа. Ген. Дидерихс, принявший командование над армией, вырабатывал планы[23]. Мобилизация казачества, не исполнившего затем боевой задачи, которая заключалась в рейде к Петропавловску в тылу у противника, шумиха с карпато-руссами, мобилизация беженцев, серьезное и глубокое движение в дружинах Св. Креста, поднятое Д. В. Болдыревым, беспрестанные поездки адмирала на фронт — все это затянуло картину, не позволяло видеть действительности.

И когда в середине сентября месяца 1919 г. я выехал в Новониколаевск, для организации там отделения стяжавшей большую популярность и, действительно, удачной «Нашей газеты», печатавшейся в Омске в 80 000 экземплярах и посылавшей стереотипы с курьерами во фронтовые типографии,— я был совершенно спокоен.

До Новониколаевска подвез меня в своем вагоне ген. Голицын, который ехал с Д. В. Болдыревым в Новониколаевск и Томск по организации дружин Св. Креста[24]. В чудесный осенний день приехали мы в Новониколаевск, и вечером на другой день довелось мне быть на проповеди Дм. В. в Соборе.

Явление было изумительное. Чувствовалось, что поднимается постоянная, значительная сила, по-

дымается сама толща народа. И если впечатлению вредила слащавая, манерная речь о. Жука, этого западного священника, слегка на католический манер, то тем более впечатление производил своей речью Болдырев.

Когда мы возвращались с ним обратно на извозчике в вагон, он, охваченный еще не угасшим возбуждением, рассказывал мне, как где-то в Тверской губернии посетил он какого-то старца-отшельника. И так много мистической силы, мистической экспрессии было в его рассказах, что везший нас извозчик вмешался в разговор.

Болдырев с Голицыным уехали в Томск, где вскоре уже открылись изумительные симптомы против как христианского, так и мусульманского антибольшевистских движений... Первое выразилось в заявлениях со стороны некоторых представителей православной церкви об ее «аполитичности». Второе — в появлении в томских газетах писем и статей некоего инженера-мусульманина, движение мусульман-беженцев против большевиков, а, следовательно, — в помощь Омску, старавшемуся использовать для выговаривания себе национальной автономии и этот вопрос предлагавшего «пока что обсудить». Покойная, маститая, академическая «Сибирская жизнь», с ныне расстрелянным Адриановым во главе, усердно печатала эти тонко составленные большевистские статьи[25].

Я еще остался в Новониколаевске. Обстановка меня глубоко поразила. Эти 400 верст от Омска до Новониколаевска легли плотным рубежом между омскими идеями и местными. Приходилось соприкасаться с кругами кооперативными, беженскими, Земсоюза, административными, торгово-промышленными — всюду было одно — какая-то сонная, торчащая, как еж, подозрительностью во все стороны, тугая жизнь...

Во главе Земского союза в Новониколаевске стоял Ф. М. Дьяков, молодой председатель Пермского губернского земства, один из тех немногих людей, с которыми можно делать дело, несмотря на разницу политических убеждений. Но и работа Земского союза шла как-то не проворно.

Не было ни охоты, ни жара, а что самое главное было особенно подчеркнуто — это стремление к аполитичности, и это-то в политической войне.

— Ну, что у вас в Омске?— такими словами приветствовал меня мой приятель по Перми, В. И. Киснемский, прис. поверенный, отсиживавшийся от большевиков в свое время где-то на сеновале на дворе, бежавший из Перми, а теперь, по его словам, «окопавшийся» от мобилизации интеллигенции в Земсоюзе,— погромы устраивать собираетесь?

Дело было в следующем. Приехавший в Новониколаевск Ф. М. Мельников в своей речи на агитационном собрании в пользу крестоносного движения сделал несколько выпадов в сторону евреев. Этого было достаточно, чтобы все то движение, которое поднимал, которым жил Дм. В. Болдырев — было выброшено за борт, списано со счетов этими типичными представителями российской интеллигенции. И главное-то — ведь ни одного погрома не было. А славы — сколько хочешь...

И сколько ни говори, сколько ни разубеждай, сколько ни зови помочь — ничего. Кто-то от века дал этим людям прирожденное, естественное право на роль судьи — и все тут.

С другой стороны, конкретная, не идеальная действительность являла вид печальный. Представители власти на местах держали себя так, что вспоминался анекдот Тэффи[26] о французском короле и крестьянине:

— Крестьянин встретил своего короля, рассказывает она, и тот спросил его:

— А ты знаешь, кто я?

— Нет.

— Я король,— сказал король и удалился, не причинив крестьянину ни малейшего вреда.

Общение с властью на местах было, однако, не столь благополучно. Известна история с управляющим Новониколаевским уездом В. М. Сыэрдом и начальником 6 уч. милиции Галаганом, которые высекли кооператоров и о которых покойный В. Н. Пепеляев[27] издал свой крутой приказ. Но нет конца неожиданностям, неисчерпаема бездна досадных, прискорбных анекдотов!

Кооперация в Новониколаевске, много положившая сил и средств на то, чтобы сбросить в мае месяце 1918 г. большевиков, как известно, поставляла на войска одежду — шубы, шапки, рукавицы, валенки и т. д., а равным образом и продовольствие. Как организация общественная, хотя и широко вступившая на путь «частной инициативы» в делах завязывания сделок, она, конечно, не очень была любима военным начальством, возлюбившим дикую систему реквизиций и, под шумок, поднятый и раздуваемый коммерсантами, протягивавшими свои частные делишки. Биржевой комитет Новониколаевска также был очень недоволен конкурентами-кооператорами, и вот в Новониколаевске разыгрывается трагикомедия танцующих на вулкане людей. Проводимые «экстренные» меры по ночной охране города потребовали известного количества лошадей. Биржевой комитет, разверстывая, разумеется удружил кооперативам. Те запротестовали, указывая, что они и так уже достаточно обложены, а лошадей у них совсем мало, и лишь в конце сослались на свое формальное право не подчиняться разверстке биржевиков, так как они не являются частным торговым заведением.

Этого было достаточно. Была пущена соответствующая бумажка, и начальник гарнизона, ген. Платов, где-то подцепивши революционной фразеологии, в

официальной бумаге констатировал о нежелании кооперации нести жертвы на престол отечества, почему-де она и *«покрывает себя позором»*.

— Позвольте,— возмущался председатель Закупсбыта, у которого я просил типографской краски для газеты. — Почему — позором? Разве у нас не готово 30 000 полушубков? 100 000 пар варежек? А валенки? — Мы рискнули и выписали из Англии медикаментов чуть не на миллион рублей. Они уже в устье Оби. Разве все это не нужно армии? Разве наша типография Закупсбыта не работает на Осведверх?

Взволнованному кооператору, кабинет которого был украшен пенатами — портретами Брешко-Брешковской, Керенского и еще кого-то, я обещал описать всю эту действительно возмутительную историю в газетах, за что и получил из-под полы краску.

Другим путем типографской краски даже «правительственному» Р. Б. П. достать было нельзя.

Осведверх, имевший в Новониколаевске 8 независимых друг от друга представителей, начиная с англизированного, но вечно пьяного д-ра Кривоносова и до подпоручика Соколова, о котором речь будет ниже, имевший свою труппу, свой *здоровенный мужской хор* (ей-богу!), какую-то газету и проч., и проч., реквизнул в Новониколаевске всю краску, всю бумагу.

Во главе бумажного дела стоял, недоброй памяти вышеупомянутый подпоручик Соколов, присланный для наблюдения за печатанием из Омска. Он накопил под собою до 8000 пудов бумаги, почти всю типографскую краску, и когда кругом все выло от безбумажья — он всем хладнокровно показывал телеграмму из Омска:

— Держать трехмесячный запас.

Он старался. Он держал 6-месячный запас, и я глубоко убежден, что и теперь еще красные газеты в Новониколаевске печатаются на его бумаге. По моим сведениям, там были еще какие-то вагоны с бумагой.

Нам, Русскому бюро печати, этот субъект не дал ни фунта ни краски, ни бумаги.

Лишь благодаря известной решительности управлявшего уездом М. М. Плохинского получил я какое-то небольшое количество бумаги для начала газеты.

Я намеренно взрезаю толщу русской действительности по одной линии своих действий, стараясь не разбрасываться в стороны. И теперь, год спустя, так ярко встает в памяти нелепая тина апатии, нерешительности, отсутствия предприимчивости...

Газета в Новониколаевске начала выходить под редакцией абсолютно глухого А. Н. Южакова, при хромом секретаре Ушакове... Только энергии заведовавшего Новониколаевским отделом Р. Б. П. — Я.Л.Белоблоцкого, обязаны мы тем, что она не закрылась после первых же номеров из-за отсутствия бумаги. И кому только он не посылал циркулярных телеграмм!

Из Новониколаевска с последним пароходом проехал я с тою же целью в Томск. Это было изумительное путешествие при чудесной, тихой теплой осенней погоде; зеленоватое небо, пески, стаи лебедей на песках. Вечером закат, пылающий, багровый, струящийся в черной воде в глубоких берегах Оби, чеканящий на своем фоне черные лесистые, угрюмые острова.

И в эту красоту могучей, сибирской, таежной природы ворвался все же крик Гражданской войны, крик боли.

Был день Покрова, к ночи уже подвалил пароход к крутому высокому берегу, осветив его прожектором. На берегу под звездное небо уходило бледно-зеленое в электрическом свете дерево, пылал красный огонь костра, и симметрически расположились группы пестро одетых крестьянских девушек. Ни дать ни взять — сцена из оперы. Они шутили, пересмеивались под страшный вопль матери, провожающей мобилизованного первенца-сына.

Она лежала, распластавшись, у самой воды, перемежая вопли с одним только:

— Только, Ванюшка, уж служить довелось, так служи. Не бегай!

Не знаю я, убежал этот Ванюшка или нет... А сколько убежало и не Ванюшек, а куда постарше и годами и чином!

А в рубке 1-го класса все шло своим чередом. Со мной ехала одна милая пара, супруги П. Буфет уже был на зиму закрыт, и Катерина Ивановна кормила нас на убой единственно по доброте своего сердца. Но был пунктик у этой совершенной женщины: страшно не любила она беженцев.

— Ну, куда бежать,— говорила она,— и зачем? Разве так уже страшны большевики? — Слава Богу, у нас в Томске мы уже нагляделись. А потом эти претензии: «мы — беженцы». Скажите, пожалуйста!

И мне немного стыдно было за то глухое чувство злорадства, которое шевельнулось в душе, когда в декабре того же года я увидел ее в Томске собирающей свои вещи для «эвакуации». Она была и не горда больше, и не авторитетна, увы.

На пароходе ехало еще несколько профессоров Томского технологического института, а также один любопытный старик, архитектор, томский домовладелец Лялин. Страстный охотник, рыбак, возвращающийся с богатой добычей домой, он был одет в лохмотья с той элегантностью, с которой могут делать это только охотники. На мой вопрос, нет ли у него убитых лебедей, он ответил мне с шармом старого доброго времени:

— Мой друг! Я охотник-эстет. Я не стреляю поэтому ни лебедей, ни диких коз.

Так вот этот самый эстет в продолжение нескольких часов ругательски ругал адмирала Колчака за те порки, которые якобы он «приказывал» проводить повсеместно. Мне даже никак догадаться не удалось,

откуда у этого старца такая мысль, но он дебатировал ее страстно и необыкновенно долго, не признавая никаких аргументов и все относя на счет Верховного.

Или, может быть, это просто атавизм, отрыжка от старого времени, как доброе, так и злое приписывать *одному* человеку, как делает это весь наш народ, демонстрируя этим воочию свою *монархичность, единоначалие?*

И в таких густых сиреневых провинциальных тонах оказался весь Томск.

Я не скажу, чтобы к этому я не был готов. Наблюдения над газетами из далекого Омска в течение трех месяцев, как я приехал из армии, уже раньше говорили это. Если в Новониколаевске, в этом бьющем ключом «Новгороде-Сибирском», и трудно было издали подметить эти отличия от Омска, именно вследствие его близости и географически, да и идейно (кооперация Сибири и Омск — родные братья), то интеллигентски провинциальный Томск, эти «Сибирские Афины», отчетливо позволял угадывать свое лицо. Загроможденный своей интеллигенцией, интеллигенцией пришлой — туда, например, был эвакуирован Пермский университет, Томск не оживился. Наоборот. До последних дней декабря 1919 г. обильно питавшийся, имевший и дрова, и квартиры, и электрическое освещение, он был, пожалуй, единственным по своей сонности городом, никакой «поддержки» оказать и не могущим.

Иркутск — тот был живее.

В расселении беженцев из Урала и Поволжья по Великой Сибирской магистрали, несомненно, можно было усмотреть некий закон. Все государственно-мыслящее осаживалось в Омске, в порядке постепенности прибытия. Вот почему бразды правления и в правительстве, и в общественности приняли по преимуществу Казань, Самара, чуть Пермь. Все спекулятивно, торгово-мыслящее предпочитало Новони-

колаевск. Солидные, тихие люди тянули на Томск, в тайгу, а все будирующее, протестующее и семитически-страстное скапливалось или в Иркутске с оттенком политическим, либо в Харбине — с нюансом спекулятивным.

Иркутск уже в июле, августе месяцах 1919 г. имел физиономию, хранившую следы обреченности страсти власти. Известна история с социалистическим земством, отказавшимся почтить вставанием память погибших в Гражданской войне. Издававшийся весьма интенсивно там журнал «Еврейская жизнь», дававший массу весьма любопытного материала, группировал вокруг себя значительное количество еврейской интеллигенции, которой, конечно, чужда была национальная, живая струя подлинного Омска и которая, наоборот, чрезвычайно чутко прислушивалась, как бы ни была затронута *ее* национальность.

Ведь в этом Иркутске «молодому сановнику», по выражению блестящего фельетона талантливого В. А. Жардецкого,— Т. В. Бутову был предложен вопрос:

— А известно ли ему, что Р. Б. П. в Омске печатаются погромные афиши и т. д.?

Речь шла об афише «Ленин и Троцкий», изображенных в виде пары неких владык с красноармейской звездой на короне. Ничего зверского в этой афише не было, и она имела (да и теперь имеет, в смысле длительности действия) большой успех.

Т. В. Бутову пришлось дипломатически ответить, что он «разберется»[28].

Разобраться ему не пришлось, хотя в октябре месяце от читинского раввина подоспел другой запрос:

— Известно ли и т. д., что на упомянутой афише изображен щит Давида?

Хотя шестиконечного щита там не было, а была красноармейская звезда с пятью углами — это ничему не помогло; могли, видите ли, смешать.

Но, кроме того, в Иркутске был знаменитый Яковлев, который был «всеми любим», губернатор из губернаторов, администратор на редкость[29].

В самом деле. Приезжает эвакуированное Р. Б. П. в Иркутск с директорами А. И. Коробовым[30] и, horribile dictu, Н. В. Устряловым.

Яковлев для Бюро предлагает помещение — в Слюдянке (юг Байкала)!

18 ноября 1919 г — годовщина диктатуры. В этот день приходит телеграмма о падении Омска 14-го, а Яковлев служит в присутствии войск и народа благодарственный молебен на площади.

Приказ покойного адмирала об августовском отступлении нашей армии, сменившимся затем стоверстным наступлением до реки Тобола, особо широко *распространяется по всей Иркутской губернии недатированным,* как раз во время всеобщих известий о наступлении, смешивая, путая, срывая известия правительства.

Одним словом, достаточно сказать, что этот участник «колчаковщины», помощник адмирала, богомольный социалист сидит теперь в редакции харбинской газеты «Вперед» и зовется тов. Дуниным!

Ясно, что при таком различии городов, при фактическом наличии уделов, при отсутствии какой-либо влиятельной, хорошо тиражирующейся прессы,— необходимо было создать сеть органов печати, объединенных между собою общей редакцией, чтобы попытаться проникнуть к самим массам, сквозь эту стену нечистоплотности, предательства, провокации, а пуще всего — глупости и косности.

Прибытие мое в Томск ознаменовалось ночью пушечной пальбой. В городе дрожали стекла, через город с воем летели снаряды. Испуганные обыватели сидели дома. Некоторые, обрадованные «переворотом», выявились и были схвачены. Но перепуганы все были до такой степени, что один член городской

управы, устремившись из дому на площадь, умер от разрыва сердца.

Оказывается, что командующий войсками Омского военного округа, ген. Матковский[31], устроил репетицию тревоги. Дело не в репетиции, дело в том, как она была устроена, в художественности, так сказать, ее исполнения.

Пушки, из которых совершенно неожиданно открыли огонь, стояли у Красных казарм. От первого же выстрела стали сыпаться стекла, и проснувшиеся, сорвавшиеся с нар в одном белье солдаты удовлетворительных показаний при такой тревоге дать не могли.

В Томске действовать и открывать газету было еще труднее. Препятствий было масса, и каких! Самых неожиданных. Управляющий губернией, Михайловский, по злым языкам, племянник министра Гаттенбергера, встретил меня благосклонно, но бумаги дал только 20 пудов, по совету своего помощника: самим, видите ли, нужна будет в губернской типографии[32]. Хуже обстояло дело с помещением. Был на Почтамтской какой-то магазинчик м-м Валерии — «Корсеты и шляпы». Помещался он в Архиерейском доме — показался удобен под редакцию.

Прихожу к главноуполномоченному минвнудел по реквизициям. Не принимает. В очередь.

Только через два дня добился я распределявшего комнаты уполномоченного. Выдали ордер.

Не тут-то было. М-м Валерия оказалась женщиной энергичной и уступить нам одной комнаты так и не захотела: пропадет все ее корсетное дело.

— И ничего вы с нею не поделаете,— сказало мне одно значительное лицо...— Плюньте, батенька... Она вон как-то панталоны дамские с кружевами на окне Архиерейского дома вывесила, да так и не сняла. Скандал! Контракт-де у нее. Ха-ха. Одно слово: бабец. Полька она...

Кой-как приткнув редакцию в помещении чахлого Общества помощи армии, в холодный, снежный, черный вечер уехал я в Омск.

II

РАЗЪЕЗД

Уже на обратном пути дорога являла вид тревожный. Пассажирские поезда хотя и ходили, но плохо. От ст. Тайга пришлось ехать в холодном, пустом санитарном вагоне. Навстречу попадались беженские эшелоны; как сейчас вижу один вагон, около которого толстая женщина выгружала свою рухлядь. На вагоне мелом было написано: Ст. Петухово.

Тут мы узнали, что продвижение красных шло очень быстро. Конечно, сведения были очень преувеличены, как вообще бывают преувеличены показания очевидцев. Но на фронте творилось что-то неладное. И я, газетчик, стоявший близко к омскому делу, я за месяц моего отсутствия из Омска оказался оторванным от событий и в Омске, и на фронте. Чего же тогда говорить об остальной массе?

Верст за 30 от Омска пришлось оставить вагон и сесть на подаваемый в Омск паровоз. Ночь, холод, снег, красное пламя печки. Машинист был пьян, помощник выпивши, и оба они пугали друг друга, открывая на полный ход регулятор и с хохотом отталкивая от него друг друга при попытках убавить ход.

Зато доехали быстро. Пробираясь домой по темным улицам Омска, среди бестолковых патрулей, среди грандиозного военного скандала у кабака «Аполло» на углу набережной Омки, я чувствовал полное отчаяние. Развал висел в воздухе, густым туманом поднимался от земли. Работа по организации людей,

честно противобольшевистски настроенных, походила на взбирание на какую-то стеклянную гору. Шаг, два и вы летите обратно на полный ход назад...

Пришел домой, стуком в окно разбудил семью, и первое, что я услыхал, было:

— А знаешь, объявлена эвакуация... Что делается! Все получают эвакуационные, ликвидационные и все хотят ехать в первую очередь...

Это было неким откровением. Весь эвакуационный период Омска, начиная от конца октября,— был наполнен для массы служилого омского элемента тремя формулами:

1) эвакуационными, 2) ликвидационными, 3) очередями отъезда.

Это было кошмарное время. С одной стороны были надежды, и сильные: Деникин подходил к Туле. Сообщение о том, что при взятии им Орла толпа стояла на коленях и пела «Христос Воскресе», вызывало энтузиазм. Небольшая пикантная подробность: Р.Б.П. издавало довольно удачную газету «Русское дело» под номинальной редакцией Д. В. Болдырева и под фактической Н. В. Устрялова. Заботой и соревнованием всех сотрудников и редакторов было отыскать для каждого № какой-нибудь лозунг, который и набирался крупно на первой странице. Так вот, по поводу Орла, изобретенный, если не ошибаюсь, Н. В. Устряловым, появился лозунг из св. Серафима Саровского:

— Будет время, когда осенью будут петь Христос Воскресе![33]

Такая восторженность тогда никого не удивляла.

Я не смогу описать теперь всех внутренних перипетий сложнейшего омского механизма, всего того, что делало одно какое-нибудь лицо и чего оно не делало. Да это не в моих задачах. Масса, общее состояние умов, действий, вот что представляет наибольший интерес в такие минуты. Что касается от-

дельных личностей, то они просто вкраплены в общий фон картины.

Естественно, что непосредственная работа отходила в такое время на задний план. «Информация» — вот что привлекало еще умы, не толпившиеся у расчетных касс. Между 12 и 1-м часом все Бюро собиралось в кабинете А. К. Клафтона. В ожидании хозяина, Н. В. Устрялов вдохновенно набрасывал отчетливые схемы международных положений, которые должны были в два счета вызволить Омск. Врывался Д. В. Болдырев, в унтер-офицерской форме, с зеленым щитком, с белым крестом на груди. Он часто бывал у Верховного и оттуда приносил последние новости. Совещание командующих армиями, на котором выступал весьма резко ген. Пепеляев[34], решительно оттягивавший свою армию на Томск (где она и распылилась), изображалось им, по обыкновению, очень картинно. Наконец, приезжал как всегда возбужденный А. К. Клафтон. Он только что был у Пепеляева. Положение безнадежно. Дитерихс уходит. План Дитерихса. Дитерихс остается. Сахаров назначен[35]. Дитерихса «хочет» армия. Сахарова «не хочет» армия. И т.д., и т. д. ...

Ген. Дитерихс — вот имя, которое было на устах у Омска в то время. Дело в том, что у ген. Дитерихса «был план». Какой план — этого никто не знал, но этому все верили. Я много раз слыхал в Омске об этом плане, и многие штатские люди объясняли мне его весьма авторитетно, но по-разному.

Есть такие люди, репутация которых создается в соседней комнате. Это лицо выходит оттуда, и вы видите, что в соседней комнате его репутация чрезвычайно высока. Поэтому он и у вас пользуется чрезвычайным уважением. Между тем в той, другой, комнате верят комнате вашей.

Я не имел чести знать ген. Дитерихса лично, но все, что я о нем слышал, сводится к неким планам, которые ни разу не были выполнены.

В Чите даже был, говорят, у него план отхода армии на Якутск. Вон куда!

Иронический Макиавелли говорит по этому поводу:

«Манлий получил власть, обещав римлянам победы. После этого была битва при Каннах».

Не выполнен остался даже его последний, омский план. Д. В. Болдырев с возмущением рассказывал мне, что ген. Дитерихс говорил ему так:

— Я теперь еду в Читу. Надо помирить атамана Семенова с адмиралом, чтобы, когда Колчак турманом полетит из Омска, в Чите ему был бы готов приют...[36]

Судьба судила иначе... И хотя развязные слова ген. Дитерихса оправдались, но до Читы долетел один ген. Дитерихс, хотя долетел после многих приключений, при помощи ген. Жанена, в его поезде, снискав его благосклонность раскрытием в Верхнеудинске якобы заговора каппелевских и семеновских офицеров против него, учитывая соответственным образом выступление ген. Сыробоярского[37].

Омск представлял из себя, в ту пору, картину потрясательную. По улице день ото дня все гуще и гуще неслись грузовые автомобили, доверху заваленные разными вещами. Эвакуировались цветы, пианино, трюмо; как сейчас вижу, как такой грузовик давит на Любинском собаку. Сидевшая рядом с военным шофером дама в шапочке с белым эспри даже ухом не повела на отчаянный визг несчастной. Ветка, этот целый иностранно-вагонный квартал, мало-помалу очистилась от именитых заморских гостей, приезжавших посмотреть русскую революцию, и заставилась рядами «составов», предназначенных для различных учреждений. Все приказачились на предмет длинного пути. Стояли ясные холода; люди в форменных фуражках, с поднятыми воротниками, кололи и пилили дрова.

— Куда едете?— слышал я, как крикнул какой-то один знакомый другому, проходя.

— А не знаю,— был беспечный ответ,— куда повезут!

Мы увидим потом, куда повезли и как повезли этих беспечных людей.

Это была одна сторона Омска. Другая, пожалуй, еще более трагичная, была сторона военная. Д. В. Болдырев развивал мысли, в сущности, совершенно правильные, о колоссальной силе больших городов. Он приводил в пример неоднократные мобилизации большевиками Петербурга, проходившие и достигавшие цели, несмотря на антагонизм населения власти,— и мог только возиться со своими крестоносцами...

О, эти крестоносцы, эти дружины Зеленого знамени, давшие значительные части, в общем до 6 тыс. человек вполне надежных бойцов. Что с ними сделали! Во-первых, широкой рукой черпали из них в разные тыловые службы, вроде конвоя Верховному. Затем, при отправлении на фронт, не оставляли крупной одной частью, а разбивали по другим частям, вследствие чего люди, конечно, теряли уверенность в себе, да еще под постоянными подтруниваниями офицерского состава и товарищей. Ведь мы не умеем относиться с уважением к убеждениям других, хотя и не разделяя их...

Потом, конечно, вышла история с одеждой и снаряжением. Винтовки им были выданы новые, американские, те самые, у которых затвор переставал действовать после десятка выстрелов, а в виде теплой одежды им пожалованы были китайские широчайшие стеганые синие штаны, без прорех.

Словно кто-то умышленно издевался над этими простыми, хорошими, честными и действенными людьми!

Однако к обороне Омска готовились. Строились «предмостные укрепления», на тот случай, если Ир-

тыш еще не замерзнет. Была объявлена принудительная повинность на работы, за которые, правда, платили, но значительное количество людей (не знаю, сколько, но не менее двух тысяч) работало в поле не только без какой-нибудь тени внимательности и заботливости к их нуждам, а просто без горячей воды, без горячей пищи.

Уже после падения Омска, в пути, довелось мне разговориться с нелепым, добродушным саперным прапорщиком, получившим приказание сдать приготовленные позиции отходящим частям и страшно волновавшимся, что никто их не принял. По его рассказу, вся работа свелась к вырытию нескольких окопов с колена, без проволочных заграждений, без прикрытий, безо всего.

Больше того, мне довелось слышать, что известная часть штаба была против постройки укрепленной полосы под Омском, потому-де, что это может служить стимулом частям отступать слишком поспешно на приготовленные позиции.

За это не поручусь, но верю, что такие стратеги из молодых да ранних генштабов ускоренного выпуска могли додуматься до подобной штуки.

Кроме подобных оборонительных работ, усиленно развивалась деятельность и по созданию отрядов. Была создана «Омская группа», командование над которой получил ген. Тарейкин. Я не знаю, были ли какие-нибудь части в этой группе, но я утверждаю, что знаю офицера, который получил должность начальника военно-цензурного отделения штаба Омской группы...

Наконец, после многочисленных разговоров, переговоров, слухов, наступил день отъезда из Омска Р.Б.П. В коридорах осталась тишина, рваная бумага, небольшой штат для продолжения работы РТА (Рус-

ское телеграфное агентство) и для выпуска «Нашей газеты».

Прошел день, прошло два, три, а уехавшие все прибегали со станции: поезд никак не мог отправиться... Некоторые вылезли. Наконец, был назначен самый последний, окончательный день. Был вечер, когда мы с А. К. Клафтоном приехали на станцию. Закат горел и сверкал в небольшом снегу. Лентой вытянулся поезд со служащими, машинами, бумагой. Какие-то две старушки хлопотливо, как муравьи, тянули в вагон огромную, золоченую, пустую раму...

Фигура Устрялова в синем демисезоне и валенках... Зуда с многочисленными чадами и домочадцами, нелепо интеллигентский вид озябшего Блюменталя в пенсне на красном носу, толстый, спокойный К. П. Журавлев. Клафтон долго ходил с Устряловым. И это было глубоко-трагичное последнее свидание двух людей. Одного вернули в Омск, чтобы положить в могилу, другой оправдывает сделавших это.

После их отъезда стало как-то легче, спокойнее. Исчезла нервность, исчез шум. Сводка день за днем неумолимо приближала фронт, и с этим как-то освоились вплотную. Новости свелись к весьма однотипным: сегодня уехало одно учреждение, завтра другое; тронулся, наконец, Совмин. Уехал и Верховный. Путешествие Верховного известно. Описано оно многими, это путешествие под пятью союзными флагами, под благосклонным руководством генералов Жанена и Сырового, ставшими в сумятице, неразберихе русской жизни и борьбы вдруг «земскими демократами»,— один по своей недальновидности и глупости, другой — по тонкому, весьма хитрому и жирному расчету[38].

Ведь «демократизм» чехов начался давно, тогда, когда застрелился под Казанью полковник Швец, командир 1-го чешского полка, состоявшего из чехов, сознательно перешедших на сторону России, полка,

погибшего почти полностью[39]. Он начался с избрания Чешского национального совета, во главе которого оказались приказчики, метрдотели из петроградской «Астории» и коммивояжеры. Политика совета этого — политика Богдана Павлу, чешского уполномоченного, связанного с Авксентьевым, Зензиновым и другими, совершенно определенна. Выступив в июне месяце, захватив Екатеринбург 25 июля, и в этих же числах Казань, чехи фактически больше не воевали. Провоевав, таким образом, немного более 2 месяцев, чехи уходили в глубь Сибири, увозя с собою огромные транспорты снабжения, продовольствия, пианино и мебель, книги и микроскопы и т. д., что, значительно приумноженное, и было спустя год вывезено на демократических пароходах домой, в тихую Чехию[40].

Это была блестящая, показная сторона этих вороватых военнопленных славянской национальности. Закулисная сторона была еще хуже.

Вспоминаю один эпизод. После занятия красными в 1919 г. Екатеринбурга, оттуда вернулся, не проехав на Архангельск, небезызвестный друг России, профессор Лондонского университета, Бернард Перс. Он сразу же явился к нам в Р. Б. П. в сопровождении молодого чеха, Альфреда Несси, с предложением выработать несколько основных положений, на основании которых должна была строиться агитация против большевизма. По мысли почтенного профессора, основной текст брошюры этой должен был быть русским и утвержден Верховным, и переведенный на другие языки, он, таким образом, давал бы общие директивы для действий в разных странах.

Чех Несси также чрезвычайно горячо поддерживал этот план. И вот автор этих строк, под диктовку двух плохо говорящих по-русски союзников, диктовал машинисткам эти заповеди.

Ничего особенного, конечно, они не представляли, да и не могли представлять. Особенное предста-

вили те разговоры, которые вел за работой Несси. Он чрезвычайно подробно рассказывал о постановке дела государственной агитации в Германии, в Австрии, причем поразительны были совпадения этих милитаристических, империалистических методов с большевистскими. Тут было все, на что мы насмотрелись в Совдепии. И шествия с музыкой и флагами, и праздники по случаю побед, и прогулки войск с музыкой для подъема духа у народа и для острастки непокорным.

Заинтересовавшись, я из расспросов узнал еще больше. Я услыхал, что «мы сбрасывали» с аэропланов в тылу итальянского фронта фальшивые банкноты для того, чтобы понизить курс денег в стране и создать известные затруднения, и т. д.

И вот, совершенно случайно, от удивительно осведомленной г-жи Л. я узнаю, что чешский офицер Несси известен ей еще с 1914 г. Он был взят рядовым в плен одним из первых, поступил в формировавшуюся в Киеве чешскую дружину, и вскоре, в числе четырех других, был послан в глубокую разведку в Австрию. Двое были расстреляны немцами, один вернулся, а А. Несси вышел только в 1917 г., успев получить в армиях центральных держав чин лейтенанта.

Приезду его в Омск предшествовала французская радиотелеграмма с просьбой арестовать такого-то. Он и был арестован в Екатеринбурге, а затем выпущен английским консулом.

Ясно, что передо мною был шпион центральных держав. Я кинулся к профессору Персу, но не застал его дома. Поехал к Павлу. Толстый, пузатый человек принял меня чрезвычайно сухо.

— Вам известен офицер чешской службы Несси?

— Да, известен... Но он не офицер чешской службы...

— Но он носит чешскую форму...

— Я этого не знаю.

— Я знаю это и довожу до вашего сведения. Нам известно, что он шпион центральных держав...

Молчание. Потом ответ:

— Чеховойско не может принять на себя ответственности за всех, надевших чешскую форму.

Так. Только ночью застал я друга России дома. Вечером он читал какую-то лекцию и около полуночи возвратился на квартиру к м-ру Ходсону, омскому английскому консулу. На мой вопрос, давно ли м-р Перс знает Несси, старик ответил мне, что с Екатеринбурга, где его познакомил английский консул.

Тогда я прямо изложил ему, что мне стало известно, и спросил его, что он думает делать.

— Я знаю это все,— сказал вдруг Перс, сося трубку и смотря на пламя омской свечки подслеповатыми глазами...— Я знаю его с 1914 г. ...

И полился изумительный рассказ.

Оказывается, после начала войны обнаружила себя в Англии мощная германская организация. В противовес ей в Англии было решено, под руководством какого-то из редакторов Times'а создать противодействующую.

В создании этой-то организации и участвовал профессор Перс. План действий был таков: в то время, как германцы удары пропаганды своей направляли на противоречия социальные,— здесь все внимание должно было быть устремлено на противоречия национальные, в частности, на отложение славянства.

С 1914 г. профессор Перс находится при полковнике Звегинцеве, начальнике контрразведки 3-й нашей армии, стоя в центре зарождающегося «славянского дела». Тогда ему и стал известен Несси. Они, по его словам, все время держали связь, и при посредстве Несси был подготовлен переход на нашу сторону 36-го чешского полка целиком.

По другим сведениям, однако, это участие Несси в этом деле не подтверждалось.

Одним словом, мне ясно было, что налицо какой-то чрезвычайно запутанный узел. С одной стороны, профессор Перс, импонирующий своим званием, своими связями русской общественности, выступающий в качестве представителя британского народа с выражением симпатий нашему делу возрождения. С другой стороны, этот же профессор на славу Англии работает четыре года с русской контрразведкой и является в Омск по делам явно осведомительного характера, хотя и приглашает наших студентов ехать в английские университеты, а своих учеников обещает посылать в Россию. Наконец, этот же профессор связан с лейтенантом австрийской службы, чехом, который тщится определенно попасть в корреспонденты Р.Б.П. в Праге и обещает нам давать оттуда сведения по французскому радио в Омске в тот же день, хотя сами чехи от него отрекаются. Что тут было делать?

— Адмирал вам верит,— сказал я,— мы не имеем основания не доверять вам. Поручитесь за Несси, и я не буду предпринимать никаких шагов...

Перс так и сделал. Через два дня они вместе уехали в Англию.

Такие закулисные стороны сложнейших европейских отношений вдруг причудливо раскрылись среди наших русских неразберих... И куда было нашим дипломатам состязаться с этими интриганами, у которых национальные интересы миллионных народов оказывались крепко переплетенными с личными интригами.

Вполне понятно, как погиб в этом омуте бедный Верховный, поверивший «пяти флагам»[41].

Наконец, выехал и Совет министров.

Как известно, Совмин вполне благополучно добрался до Иркутска. Более того. Найдутся летописцы, которые опишут достойными красками это путешествие мозга молодой России. Те скудные сведения, которые передавали мне друзья, и так достаточно по-

трясательны. Конечно, проезд был обставлен вполне прилично, в спальных вагонах, с вагоном-рестораном и т. д. В ресторане сидели и все время кушали спиртные напитки морской министр, контр-адмирал Смирнов, юный дипломат, министр иностранных дел И. И. Сукин и минфин фон Гойер[42]. Если в дороге и были какие-нибудь недоразумения, то крайне незначительные. Так, например, однажды оказалось, что министру финансов фон Гойеру не хватило яблочного суфле. Тогда в вагоне-ресторане появилось объявление, извещающее почтеннейшую публику, что в первую очередь имеют право обедать лишь особы первых двух классов...

Особы сии на Иркутском вокзале были встречены тем же Яковлевым-Дуниным, который произнес по сему случаю весьма прочувственную речь.

Уехал в свой крестный путь Верховный.

Постепенно снимались и уезжали разные министерства.

Я оставил свою комнату на Главноуправленской и переселился к моему единственному милому сотруднику, Сергею Ауслендеру[43], погибшему столь трагически. Испокон жил он в гостинице «Россия», на углу р. Омки и Любинского, в этом огромном доме, в котором жило последнее время все Министерство внутренних дел, вооруженное винтовками В. Н. Пепеляевым и ежедневно в августе месяце лежавшее на дворе министерства на животах в цепи, под командой неугомонного штаб-офицера для поручений при министре внутренних дел, поручика П. П. Васильева. Готовились они к активной обороне.

Было довольно жутко. Гостиница пустела сначала потихоньку, а потом в одно прекрасное утро опустела вся сразу — ушел поезд министерства. Эвакуирована была даже смазливая горничная Маруся...

Появились новые птицы, новые песни. Отходившие воинские части останавливались в пустой гостинице.

В ее ресторане началось гомерическое пьянство. За два дня до оставления Омска мы не могли уже спать ночь. За стеной в соседнем номере была какая-то совершенно непонятная возня, раздавались пьяные голоса, женские крики, в стену стучала мебель, гремели выстрелы...

Спокойный, очкатый поэт Н. Я. Шестаков, живший с нами, рассказал по этому поводу эпизод, виденный им при отступлении от Оренбурга[44].

Мрачный есаул сидел в зале 1-го класса вокзала среди сбитой толпы уезжающих. При нем находился трубач. Время от времени он приказывал играть сигнал «наступление». Медные звуки гремели, звенели, дрожали в зале, оглушая всё и вся. После сигнала он наливал стакан пива, выпивал, а затем трубач играл отбой.

Видно, в нас еще много этой дикой радости разрушения.

Уехал и начальник добровольческих формирований ген. Голицын. Остался один Д. В. Болдырев со своими крестоносцами, и для этого сбежавший из поезда Голицына; несмотря на приказ генерала об его арестовании и доставлении в Новониколаевск, переданный по телеграфу, он выехал на лошадях с генералом Тарейкиным 13 ноября.

Как производился отход поездов — нечего и рассказывать. Сплошь тупиковые пути ст. Омск и не могли функционировать без задержки и при всей доброй воле и добром старании администрации. Но, конечно, легко понять, что старания этого было мало по причинам политическим, а главным образом экономическим. Достаточно сказать, что генерал Нокс, этот генерал, в адмирале Колчаке видевший или хотевший видеть второго Кромвеля, по случаю организации дружин Св. Креста выписавший из Англии с необычайным усердием 100 000 экз. Евангелия и Библии на русском языке, принужден был уплатить русской железнодо-

рожной организованной демократии ст. Омск 50 000 рублей и раздать несколько бочонков доброго рому, чтобы поезд, наконец, был поставлен на вольный нечетный путь.

Да что поезд Нокса! Поезд Совета министров должен был уплатить взятку, чтобы уйти из Омска. Куда тут сам Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, с его учетом момента перед «учетом момента» железнодорожниками.

Итак, разъезд был в полном разгаре. И, вспоминая всю эту суетню, неразбериху и безмолвную тревогу, все возраставшую день ото дня вместе с холодными, как движение стрелки часов, указаниями сводок штаба о приближении фронта, я не могу пройти молчанием еще одной подробности, и веселой, и печальной. Эта та «поддержка», с которой выступили местные газеты на помощь Омску.

Если такие официозы, как «Русская армия», давно призывали к оружию,— то за несколько дней до падения Омска, дня за два до отъезда редактора М. С. Лембича, этот шаг сделала кооперативная «Русь»[45]. Сенсации, отчеты о вечерних заседаниях министров на другое же утро больше не могли появляться на ее неразборчивых простынях, залитых серой типографской краской под давленным шрифтом. Зато появилась пышная редакционная статья, в которой «Русь» благосклонно, ввиду надвигавшейся опасности, обещала Омску свое полное содействие.

— Лучше поздно, чем никогда,— сказал еврей, опоздав на поезд, как говорится в одном старом, как мир, армейском анекдоте...

III

КОНЕЦ ОМСКА

Наступило 13 ноября. Мы по-прежнему выпускали «Нашу газету», телеграфировали в Иркутск о положении и готовились к отъезду. Было очевидно, что на железную дорогу рассчитывать нельзя, и для этого были приготовлены лошади. Днем 13 ноября мы ездили на ст. Омск. Была страшная метель. Сухой, резкий снег с ветром несся по огромной площади вдоль ветки, тучами плавал между обнаженными печальными деревьями, и, покосившись на бок, наклонившись вперед, шли, ехали верхами, двигались конные, пешие части, громыхала артиллерия, летели искры от походных кухонь.

Ввиду обстановки, которая воцарилась в «России» с приходом частей, пришлось переселиться в помещение Р.Б.П. Да это и было необходимо, потому что начиналось растаскивание вещей, обстановки и запасов.

Началось дело с того, что две прислуги с грохотом поволокли по коридору огромный шкаф, стулья и прочая мелочь была уже утащена. Когда я запротестовал и приказал оставить его на месте, мне были предъявлены весьма веские обвинения в контрреволюционности и угрозы.

То же самое пришлось наблюдать в нашей огромной типографии. Совершенно случайно я открыл, как со двора вереницей подвод вывозились запасенные на зиму дрова. Это действовали рабочие типографии. Везли также бумагу, шрифты и проч.

С одной стороны, это было выгодно для нас, потому что создавало затруднения для дела, которое неминуемо должно было попасть в руки к нашим противникам. С другой стороны, такая «ликвидация» была просто поощрением самых отвратительных инстин-

ктов, на которых построен большевизм. Для колебаний не было места. Я созвал комитет рабочих нашей типографии и просил его принять все имущество типографии, все запасы в их же собственных интересах.

В эти же дни нами был выпущен большой плакат, под заглавием «Что будет?». В нем говорилось о том, что будет, когда Омск будет занят красными. Во-первых, откроется путь в голодную Россию,— куда и повезут обильные сибирские запасы, почему жители получат взамен карточки. Во-вторых, на востоке образуется фронт, который отрежет эти места от снабжения и, таким образом, подвергнет их всем лишениям. В-третьих, «так как хлеб есть только там, где есть мало-мальски сносный порядок и власть», то хлеб исчезнет и вместе с этим большевики выдвинут новый лозунг — «В Маньчжурию за хлебом».

Я с удовольствием могу констатировать, что так и случилось, хотя бы в этой истории с забайкальской пробкой. Краснощеков подтвердит мои слова...

Далее предсказаны были мобилизации, чрезвычайка и т. д. Афиши обильно расклеены были по всему Омску.

Под вечер 13 ноября пошли мы с Ауслендером в крепость искать, во-первых, Д. В. Болдырева, который жил у ген. Тарейкина, а затем в штабе Омской группы осведомиться о положении вещей. Штаб главнокомандующего ген. Сахарова уже ушел из Омска, а штаб 3-й армии еще не прибыл.

Буря продолжалась. Ветер выл и мел снег по черным сумеречным улицам города и особенно бушевал в крепости. У старого деревянного здания гауптвахты, так напоминавшем мне постоянно «Капитанскую дочку», при тусклом свете фонаря, возились солдаты, вытаскивая какие-то ящики с казенными канцеляриями. На наш вопрос, где живет ген. Тарейкин, никто ответить не смог, да и не захотел. Пошли дальше. На черном фоне Иртыша плясали белесые снега. В одном

доме сквозь ставни лучились яркие линии света. Я зашел туда в оставленные, разгромленные комнаты.

— Чья квартира?

— Атамана Иванова-Ринова...

Относительно адреса ген. Тарейкина я ничего не добился и тут.

Было совершенно темно, снег слепил глаза, ноги вязли в суметах, горками лежавших поперек тротуара. И вдруг, среди воя, свиста, шума, шуршания снега, издалека, тихий и гулкий, как вздох, донесся пушечный выстрел...

Вот он, первый вестник нападающей силы, темной, хаотической, жуткой, как этот вечер, как эта метель в пригнувшемся, опустевшем городе.

Черный вечер,
Белый снег...
Ветер, ветер,
На ногах не стоит человек.

Недаром так начинается пророческая поэма Ал. Блока «Двенадцать».

Я невольно вспомнил эти стихи; в Перми они приходили мне в голову, когда однажды в такую же вьюжную непогодь мне бросилось в глаза полотнище красного флага, перелетавшего через улицу с надписью:

«Октябрь — осень буржуазии, весна пролетариата».

Страшна она, эта черная, похоронная осенняя весна. И ведь действительно, все успехи большевиков как-то всегда именно выпадали на позднюю осень...

В Р. Б. П. было светло, тепло. Пустые помещения были заняты солдатами, ижевцами и воткинцами — вот он, нахлынувший фронт. И после сумятицы разбегавшегося бессильного Омска, после этой вьюги тыловых мнений, так отрадно приятны были и спокойные души, и спокойные разговоры фронта.

— Да, мы подняли восстание,— говорил один из солдат,— да почему? Да потому, что мы приучены к свободе. У нас и в старое-то время полиция в заводе по струнке ходила, безобразиев не делала, так почему же мы должны сносить обыски после революции? Мы жили в заводе тихо и мирно, у каждого свое хозяйство, коровы, куры, земля. А тут наехали питерщики, ни кола, ни двора, отвалял свое на заводе кой-как, да и за поучение. И то не так, да это не так... Ну, вот и пошло дело.

И столько силы, столько убеждения было в правоте слов этого простого человека, столько понимания ценности жизни и своего труда, что становилось весело, что есть еще такие мудрые, спокойные и твердые люди среди русского народа.

Заснули на столах, а наутро, в синем полумраке рассвета, разбудили нас двойные, глухие, настойчивые удары пушек.

По веселому, ясному, морозному дню поехали на станцию, чтобы в штабе 3-й армии узнать о положении дел. Сияло солнце, у «России» выстроился сверкающий разноцветными флажками какой-то казачий конвой. На железном мосту была страшная толкучка. Тянулись обозы, части, экипажи...

Иртыш был совершенно спокоен и тих под свежим сияющим снегом, с лазоревыми пятнами льда кое-где... Ветер, должно быть, переменился, так что перестали быть слышными звуки пушек, и абсолютно спокойной была эта снежная, широкая, степная даль с красной паровой мельницей...

На вокзале сплошная давка. Что-то нагружали, что-то выгружали, что-то грабили. У перрона стоял большой поезд штаба 3-й армии... Из дверей вокзала вышел высокий, тонкий генерал Каппель и быстрым шагом в сопровождении нескольких офицеров направился к вагонам[46].

Генкварм, полковник Ловцевич, сообщил мне о положении. По его словам, «части стягивались к предмостным укреплениям города Омска». На вопрос, когда он считает, что надо уезжать из Омска, он дипломатически сказал:

— Сегодня вы можете быть совершенно спокойны, а завтра с утра нужно вам ехать, потому что может случиться неприятность...

На наших глазах тронулся на восток огромный разноцветный состав штаба ген. Каппеля.

Вернулись в Р. Б. П. и с тяжелым чувством стали готовить последний номер «Нашей газеты». Написал я небольшую статейку, дал «сводку», телеграфировал об этом в Иркутск.

Во время чтения оттиска №, около часа дня, вдруг вбежал в кабинет один из ижевцев, взял свой мешок.

— Вы куда?

— Выступаем. Красные цепью идут уже через Иртыш, да и пулеметы квохчут...

Я вышел на улицу. Действительно, со стороны Иртыша доносилось стрекотание пулеметов и ровно, не умолкая, били орудия.

Надо было выступать и нам. Я спустился на двор, распорядиться кучеру запрягать. Но каково же было мое изумление, когда лошади оказались запертыми на крепкий замок во внутреннем дворе дома, а кучера нигде не было!

Я вспомнил, что он за полчаса до этого приходил ко мне за советом, где ему достать топор, чтобы изладить что-то в санях. Очевидно, перепугался стрельбы и не пошел обратно, потому что намеренно исчезнуть он не мог: я его знал еще в Перми, где он укрывал меня у себя на кордоне в лесу...

Поднявшись наверх, я ожидал его еще с полчаса, но больше ждать было уже нельзя. Выстрелы стрекотали где-то совсем близко; по площади тревожно бегал народ.

Ко мне все время прибегали за советами рабочие. Дело в том, что часов в 10 утра в нашей типографии были отпечатаны и распространены по городу приказы за подписью одного официального лица, кого именно, к сожалению,— не помню. Согласно приказу, *все мужское население гор. Омска от 18 до 41 года должно было собраться к 1 часу дня к воинскому начальнику, чтобы походным порядком выступить из города, дабы не пополнять частей неприятеля.*

Я не видал никогда более фантастического плана! Чтобы несколько десятков тысяч человек гражданского населения, неустойчиво настроенного, собрались в полтора часа, без теплой обуви, без одежды, в яркий ноябрьский мороз, пешком тронулись из города, неизвестно куда, без пищи, без каких-либо приспособлений!

Я счел поэтому себя вправе давать нашим рабочим удостоверения, что так как они заняты в нашей типографии до последнего момента, то они выйдут позднее...

Во время объяснений этих вдруг раздались выстрелы уже на самой площади, между домом Липатникова, где помещалось Р. Б. П., и театром. И мгновенно до того пустынная площадь вся почернела от бегущего в одну сторону народа. Бежали офицеры, солдаты, женщины, дети... И с каждой группой выстрелов то в одном, то в другом направлении росла паника, становясь фантастической, чудовищной.

Надо было идти. И вот я взял ружье, Ауслендер небольшой чемоданчик, и мы тронулись в далекий путь, который для меня кончился лишь в марте месяце...

Узеньким переулком, в несущейся толпе народа, вышли мы к деревянному мосту через р. Омку. Длинная шуба моего спутника мешала ему идти, и я посадил его против воли возницы в какие-то обозные сани, запряженные парой лошадей...

На мосту был затор, по мосту велась стрельба со стороны железного моста. Охнув, присел один солдат, упал другой. Наш возница обрезал постромки у пристяжной, сел верхом и ускакал, благословив нас на прощанье крупным словом... Мы, таким образом, получили лошадей...

При въезде с моста на гору, у бань, случилось небольшое несчастье. Какая-то повозка, обгоняя нас, поддела оглоблей под нашу оглоблю, и наша лошадь распряглась...

Пришлось остановиться и первый раз в жизни учиться запрягать лошадей, и при какой обстановке — под гулкую, городскую трескотню выстрелов, под неистовую, дикую ругань несущегося кругом потока повозок и саней.

К этому еще присоединился звонкий, близкий, беглый огонь артиллерии по городу с треском разрывов... Наконец лошадь тронулась, и, мало-помалу, мы выбрались за городскую черту...

Как передавали потом, красные входили в город со стороны Загородного сада и Иртыша... И в это время среди маленьких, низеньких домиков окраин Омска разыгрывались тяжелые сцены... Женщины плакали, стоя у ворот. Я видел, как какой-то офицер, присев за поленницей, срывал с себя погоны.

Наконец, выехали за город... Я никогда в жизни не забуду той картины, которая развернулась перед нами...

Вдаль, по предвечерним степным просторам, уходила бесконечная вереница обозов. Точно такие же линии тянулись в версте справа и слева — по дорогам вдоль ж. д. полотна и по берегу р. Омки. Раздавался лишь монотонный скрип саней да хруст шагов пеших.

Скоро стало садиться солнце... Его румяный, пылающий закат полосами стал прорезать клубы дыма.

А когда погас закат, на его месте встало вишневое зарево пожара.

Закат Омска. То горели колоссальные склады на Московке. Такие же склады были и на вокзале в Омске, в пакгаузах, в составах, и все эти огромные запасы обмундирования, вооружения, снаряжения оставались красным.

Между тем некоторые наши части, как, например, егерский батальон отходил от Омска без теплой одежды, без валенок, в кожаных сапогах.

Была удивительная, звездная ночь, степная ночь, в которую я впервые в своей жизни видел звездный свет. Света не было ниоткуда, а словно облитые бледным голубоватым дымным сиянием и справа, и слева двигались черные фигуры русских людей. Сзади горело зарево...

Часов около 12 ночи впереди показалось зарево... Им было обозначено большое село Сыропятово на берегу реки Омки. Расположенное в лощине, окруженное черными силуэтами ветряных мельниц, в недвижном дыму, золотом от окружающих костров, так как ночующие не умещались в избах, оно имело какой-то исконно древний вид. Словно половецкий стан во всей своей первобытной красе развернулся перед нами.

И впрямь, это были кочевники. У костра, где мы притулились, сидела семья беженцев. Из Пермской губернии путешествовали они перед армией, пересекли Урал и теперь сидели на пороге в западно-сибирские степи.

Седой старик ловко подкладывал прутик за прутиком в ровно горевший костер, сейчас же начиная дремать в перерывы. Старший его сын, лет 45-ти, развалившись, смотрел в огонь неподвижными глазами. Были и какие-то ребятишки. Было видно, как угнездились они с матерью под с трех сторон закры-

той телегой со всем добром, четвертою, открытой стороною, поглощавшей живительное тепло.

Я не буду передавать бесхитростного рассказа сына. Скажу только, что с ноября по февраль он жил в лесу, о чем знала только его дочь. Чтобы не замерзнуть ночью — всю длинную зимнюю ночь он ходил... В лесу была такая просека — пройдешь ее туда и назад два раза — и ночь вся. Чтобы не видать было следу, дороги он перескакивал с куста на куст с длинным шестом, как заяц. Через две ночи в третью выходил он на условное место, где дочь ему клала еду. Только с приходом белых вышел он из своего звериного быта...

— А теперь куда едете?

— А до Томского, что ли,— спокойно отвечал он.

И не надо думать, что он — единица. Таких, как он,— тысячи, десятки тысяч. Это они заняли село Сыропятово, набили все избы до того, что стояли в них, как в церкви в Христов день, это они разожгли костры, это они идут неизвестно куда-то на восток.

Уселись у костра... Есть было нечего. Беженцы ели муку, разболтав ее горячей водой. Одолевала дрема. Столбы дыма казались какими-то стенами, чудился дом, самовар и простые, спокойные речи. И когда, после клевка носом, возвращалось сознание, и звезды проглядывали сквозь летучие стены, сердце замирало, словно от головокружения.

Часов около двух ночи разбудил своего спутника. Надо было попытаться застать штаб 3-й армии на ст. Кормиловке.

Расспросив дорогу, выехали. Словно розовый фарфор, блестела степь над низким ущербным месяцем. Дороги не было видно нипочем. Неожиданно навстречу нам из предутренней мглы вывернул огромный гурт скота. Тяжкие, круторогие быки шли плотной, сомкнутой массой,— гнали их солдаты.

— Вы куда?

— На Кормиловку. А вы?

— Тоже.

Очевидно, кто-то из нас сбился. Проплутав часполтора, перед светом, на зарево костров вернулись в Сыропятово.

Тут бедный Ауслендер, задремав у потухшего костра, жестоко обморозил себе обе ноги.

Встала заря, и длинной лентой снова потянулись навстречу ей подводы.

Поехали и мы. И вот, по пути, шагах в пятидесяти от дороги, в снегу, стояли чьи-то первые сани, груженные добром. Одна лошадь лежала мертвой около саней, на другой — сани были парные,— очевидно, хозяин уехал за помощью. С дороги к саням понеслась чья-то любопытная фигура, другая, третья, и сейчас же бегом возвращались обратно, таща кто самовар, кто красную подушку.

— Самое страшное,— говорил покойный адмирал Колчак,— это большевизм в душах.

IV

НА ЛИНИИ Ж. Д. МСТИТЕЛЬНЫЕ ЭСЕРЫ. ПОЕЗДА МЕРТВЫХ

Вот, наконец, и железная дорога.

Измученные, не евшие более суток, на притомленной, то и дело останавливавшейся лошади, добрались мы, наконец, в туманное и хмурое утро 15 ноября до ст. Кормиловки. Длинными красными рядами безнадежно вытянулись вагоны составов на четном пути.

Оказалось, что штаб 3-й армии уже ушел, но на станции оставался Осведарм 3-й, т. е. Осведомительный отдел штаба 3-й армии.

Я смело отправился в редакцию газеты «Московская группа армии». Какая ирония в названии!

Заведовал отделом печати некто военный врач Охотин. Это был маленький, черноглазый человек, с остатками когда-то кудрявых волос на голове и вечно сердитым взглядом сквозь сильное пенсне. По специальности — он был эсер.

Поэтому он принял нас в штыки. Хотя он отлично знал Ауслендера, знал, что тот одно время был корреспондентом при ген. Сахарове, тогда командующим 3-й армией, знал, что мы оба из Р. Б. П., но, тем не менее, он весьма сухо заявил, стоя на пороге своего американского вагона-редакции, что «посторонним нельзя».

Мой спутник чувствовал себя отвратительно, едва не падал в обморок. Все-таки, несмотря на то, что мы «посторонние», мы забрались в холодный, длинный вагон. Д-р Охотин, рассерженный, ушел в свою каморку и сердито хлопнул дверью.

На мою просьбу дать чаю, чтобы согреть дрожащего Ауслендера, он буркнул из-за двери:

— Попросите у солдата.

У солдата достали мы чаю. Сергей Абрамович уселся было у печки в углу вагона, но услужающий д-ра Охотина, военнопленный, грубо согнал его с его места, согласно, очевидно, полученным инструкциям.

У нас была бумага за подписью ген. Сахарова, разрешающая нам находиться при всех штабах армий, но, забыв о ней в первую минуту, мы нарочно потом ее не показывали, чтобы посмотреть, до каких же пределов может дойти гостеприимство милого доктора.

Эшелон Осведарма был колоссален. Тут были и типографии, экспедиции и редакции. Но на вопрос, нельзя ли в кухне достать обед,— нам было отвечено определенно:

— Посторонним нельзя.

В холодную редакцию, в которой уныло сидели мы и лежало на столе и на лавке двое сыпнотифозных, вошел хмурый, крупный поручик и стал рыться в книжном шкафу. Это был библиотекарь...

— Нельзя ли почитать какую-нибудь книжку?

— Посторонним нельзя. Обратитесь к доктору.

Я обратился к доктору, отказать было бы уж слишком нелепо. Но из-за двери каморки он все-таки крикнул:

— Возьмите с него расписку... Энциклопедии не давать!

Положение было решительно загадочно. В чем дело? За что такая немилость?

И только потом, когда из помещения д-ра Охотина вышел А. И. Манкевич, управляющий отделом печати при Директории и Колчаке до организации Р.Б.П.[47], а за ним Белов, тоже эсер, при Комуче занимавший какой-то видный пост,— дело разъяснилось. Вся штука была в том, что мы были, оказывается, представителями официального Омска, «доказавшего свою несостоятельность»... Всех этих добрых людей, с их семьями, и вывозил в своем составе их социалистический комбатант д-р Охотин.

Оставляя в стороне политические разногласия, скажу только, что эсерский террор по отношению к нам усиливался со дня на день.

Поезд все больше стоял на одном месте и только иногда, проскрипев мучительно, продвигался иногда в знаменитой «ленте» версты на полторы. По поезду ползли зловещие слухи. Передавали, как на Московке были взорваны какие-то склады, как в огне погибла типография «Уфимца». Появились первые ласточки новых бедствий; обгоняя стоявшие поезда, шли пешеходы из эшелонов, уже отрезанных красными. Тревога судорогой иногда охватывала наш эшелон. От начальника Осведарма, полковника Матикова, впоследствии убитого во время пути, исходило приказание:

приготовиться. В вагоне начиналась суетня, волнения, слезы. И, как сейчас, вижу м-м Белову, смотрящую с отчаянием и со слезами на глазах на отличные, высокие ботинки: приходится бросать, а жаль...

Поезд трогался, и все успокаивалось: и опять со стороны мстительных эсеров на нашу голову сыпались египетские казни.

Последней казнью, переполнившей наше веселое, любопытное терпение, было переселение нас в вагон сотрудников. Представьте себе два необыкновенно грязных вагона 2-го класса, битком набитых содержимыми в страхе божьем «сотрудниками». Ими водительствовал помещавшийся за деревянной перегородочкой редактор, древний старик А. С. Пругавин[48], известный исследователь сектантства, вдвоем со своим самоварчиком. В армии этого вождя были фельетонисты, передовики, татары и даже rara avis, поэт В. Арнольд, в своих поэмах умевший воспевать все, что угодно[49]. И если добавить к этому, что среди этой братии было трое сыпняков, то вполне понятно, что просьба доктора перейти туда — нами упорно саботировалась.

В этом же поезде ехал в своем маленьком вагоне 3-го класса епископ Андрей Уфимский[50]. Беседы с ним по вечерам были единственным нашим развлечением. Пылкий и горячий проповедник, протестант по духу, известный поборник прихода, он громил, по его выражению, «пьяное православие», косную и формальную гордость своей верой русских...

Однажды, вернувшись после такой беседы в редакцию, я не нашел там Ауслендера. Оказалось, его насильно перевели в «литературный» вагон, где освободились места сыпнотифозных, сданных в санитарный поезд.

В литературном вагоне было душно, темно и холодно. Горела печка, перед которой сидел один нагой литератор и бил на рубашке одолевавших вшей.

Ауслендер спокойно сидел на отведенном ему месте. Вместе же с ним сидел один польский офицер, с которым мы встретились и подружились во время нашего путешествия в редакции, С. Н. Шанявский.

Пошел объясняться к эсеру доктору — и вот что я от него услыхал:

— С завтрашнего дня приступаем к выпуску газеты, поэтому в канцелярии занятия должны идти нормально. Вы им мешаете; придется вам поместиться во 2-м классе, на освободившихся местах.

— Но ведь тут пустой американский вагон, а там вагон набит битком, и диваны, освободившиеся после сыпнотифозных, кишат вшами!

— Ничего, их можно вытереть бумагой.

Придерживая ручку двери, которую он тянул к себе, я высказал доктору все, что думал об его поведении. На другое утро мы втроем ушли из Осведарма на ст. Татарскую.

Если до ст. Татарской поезда кое-как и двигались, несмотря на то, что в пути замерзали паровозы, станции не давали воды, а приходилось ведрами нагружать на тендер снег, стоя длинной цепью,— картины, которые можно было видеть повсюду, то на ст. Татарской, где входили на магистраль польские эшелоны с Кольчугинской ветки, положение осложнялось. Все польские эшелоны претендовали на нечетный путь, для продвижения вне очереди. По нечетному же пути продвигались и санитарные эшелоны.

Эти санитарные эшелоны! Мало-помалу, в связи с бешеным развитием сыпного тифа, они обращались в сыпнотифозные поезда. Заболевала прислуга, заболевал врачебный персонал. Так, например, в пермском поезде д-ра Ногаева и д-ра Азерьера, с которым мы проехали десяток верст за Татарскую, заболело при нас четыре сестры и студент-медик. Больных некому было обслуживать; мало того, некому было обслужи-

вать самые паровозы, хотя бы для нагрузки их углем и снегом.

Они часто замерзали на месте, эти огромные, печальные эшелоны, с брошенными на полу, мечущимися в жару больными. Более того. На кратковременный путь рассчитаны были запасы продовольствия в этих поездах, и скоро поэтому вышли. Слабые выздоравливающие больные погибали от голода и замерзали в нетопленных вагонах.

Число мертвецов в вагонах росло. Их складывали на площадки вагонов, и при проходе по загаженным путям то и дело было видно, как торчали с площадок недвижные восковые и белые, как бумага, ноги мертвецов, с которых проходившие живые равнодушно стащили сапоги и валенки.

Потом, с увеличением числа мертвецов, им стали отводить целые вагоны. Я видел, как на какой-то станции трупы хладнокровно выбрасывались из такого вагона на сани. Трупы промерзли и от ударов об дровни, как фарфоровые, отлетали пальцы и кисти рук, и оставались лежать среди рельсов...

С продвижением на восток трупов стало еще больше. Дошло до того, что при ходьбе ночью по путям вы натыкались на них.

На небольшой одной станции я составил телеграмму о потрясающем безобразии этом на имя Верховного. Ни начальник станции, ни военный контролер от меня этой телеграммы не приняли: были воспрещены частные телеграммы.

Что же тут винить «начальство», запретившее прием телеграмм? — Нет, скорее, тут она — эта неизменная дубоголовость всех наших чиновников, от века не могущих проявить никакой инициативы.

Борьба за очередь на нечетном пути между этими «поездами смерти» и эшелонами поляков и стала главным предметом жизни — ленты.

Благодаря нашему спутнику-поляку недалеко за ст. Татарской были мы приняты в последний польский эшелон 3-го бат. 3-го полка, под командой кап. Сыроватки. Молодой, манерный, элегантный австрийский поляк, он проявил в отношении нас полное внимание.

И потянулись однообразные, бесконечные дни в вагоне. Справа и слева по дорогам вдоль полотна тянулись бесконечные обозы; с утра и до вечера слышался их монотонный, ровный скрип, так гармонировавший с унылым, бесконечным пейзажем Барабинской степи...

Постепенно стали отставать бедные санитарные эшелоны, оставаясь стоять на маленьких станциях, на которых были сожжены на топливо сплошь все скамейки, все заборы, деревья, отхожие места. Но были инциденты, вроде инцидента с санитарным поездом, который вел пресловутый командующий Южной армией, ген. Белов[51]. Он ни за что не хотел пропускать вперед польские эшелоны, и в то же время, на трех перегонах, подряд, разрывался, по маломощности паровоза три раза, и был вытягиваем по частям, задерживая движение.

Во время этого пути пришлось все время наблюдать скрытый, незаметный, но ощутительный саботаж железнодорожников. Дело доходило, например, до того, что ст. Чулымская отправляла в сутки по одному поезду. И это при ленточном-то движении! На этой же станции для подвозки угля со складов имелось 3 подводы, которые и таскали уголь, честь честью, по 8 часов в сутки; это при том, что один паровоз берет до 700 пудов.

Чтобы контролировать деятельность служебного персонала, на станциях учреждены были должности военных контролеров. Но одно дело — идея, другое — ее проведение в жизнь. Я вспоминаю одного такого контролера на ст. Дуплинская. Это был какой-

то лейтенант, полка морских стрелков, очевидно, из пехотных офицеров. Сидя на столе в комнате дежурного по станции, он болтал обутыми в валенки ногами. На вопрос мой к нему, скоро ли отправится поезд, он ответил:

— Что ж, постоите! И по трое суток стоят...

Я убежден, что почти никто из этих контролеров не понимал той задачи, которая выпала на его долю. А если и понимал, то его усилия тонули в море противодействия.

Через две недели мы были на ст. Чик, где наняли лошадей и утром 3 декабря по изломанному льду Оби въехали в Новониколаевск...

V

ПОТОК ПЕРЕВОРОТОВ

Новониколаевск в конце ноября, в начале декабря 1919 г. был тем единственным городом, где оставалась некоторая власть Омского правительства. Хотя Совмин и не проявил здесь никакой деятельности, спеша к месту своего умирания на восток, но пребывание здесь адмирала, высших военных начальников, а также настроение местной и пришлой, наиболее активной, общественности создало в Новониколаевске некий кратковременный, но довольно эффектный узел.

Если, однако, узел этот и был ярким выражением действенного Омска в лице особого совещания общественных организаций, пытающегося образовать некоторую силу, могущую остановить постепенный развал фронта в долгом, зимнем, необорудованном пути, то в этом же узле еще более ярко выразились те центробежные силы, которые и привели к распаду омской государственности.

Два момента определяют собой Новониколаевск указанного периода. Во-первых, образование этого вышеупомянутого совещания, во-вторых, выступление полковника Ивакина, вставшего на ту точку зрения, что все уже кончено, и первого произнесшего слово мир.

Как я говорил уже выше, в Новониколаевске велась довольно большая работа по созданию крестовых дружин и по распространению глубоко в толще народа противобольшевистских идей. Район Новониколаевска по населению своему делал работу эту вполне возможной. Налицо было богатое, зажиточное крестьянство, густая сеть кооперативных организаций, крепко державшихся за то, что ими достигнуто по улучшению края. От большевизма кооперативам, конечно, не приходилось ждать улучшений для условий работы, и поэтому ячейки свои они охотно предоставляли для распространения литературы.

Кроме того, Барнаульский и Алтайский районы густо населены старообрядцами, настроения которых не оставляли никаких сомнений. Поэтому добровольческое движение в местах этих имело под собой крепкую почву. Крепкие, зажиточные люди, закаленные природой, они не боялись борьбы. Идея сформирования на местах дружин самообороны, выдвинутая В. Н. Пепеляевым, встретила в них полное сочувствие, и в некоторых селах, по приговору сходов, были проведены мобилизации и происходили даже стычки с большевистскими шайками под командой агентов Р. Б. П.

Такие обстоятельства, конечно, всем подобным образованиям придавали особенный вес. В критический же момент общего распада они играли выдающуюся роль. Можно сказать, что было время, когда у власти стояло именно особое совещание общественных организаций во главе с поручиком П. П. Васильевым и старообрядцем Мельниковым, стоявшими на точке

зрения необходимости объединения как правых, так и левых кооператоров, до Центросоюза включительно.

Эта группа, связанная идейно с ген. М. К. Дитерихсом, толковала его отставку как непосредственное начало конца и потому, отправившись однажды делегацией к адмиралу, сделала представление об отставке ген. Сахарова.

Генералу Сахарову, приведшему армию в состояние развала грандиозными, неорганизованными маршами, ставилось в вину именно это отсутствие спасительного плана Дитерихса.

Кроме того, делегация в составе М. С. Лембича, Ф. Е. Мельникова и о. Г. Жука представила проект нового управления территорией Сибири. Создавались два округа — Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский, с ген. В. В. Голицыным и М. К. Дитерихсом во главе, под общим руководством проектируемого главнокомандующего, ген. Пепеляева. Насколько популярно было имя ген. Пепеляева, доказывает тот любопытный факт, что ген. Андогский в вагоне ген. Голицына обещал объединить вокруг него весь Генеральный штаб и генералитет[52].

Предполагалось создание отдельных кабинетов в Новониколаевске и в Иркутске, причем в Новониколаевске роль этого кабинета должно было играть это самое особое совещание.

Разумеется, что самое наличие таких представлений показывало достаточно на панику, которая охватила всех. Верховный обошелся с делегацией очень сурово, несмотря на то, что раньше сочувствовал подобным планам; за нее взялись разные контрразведки, которых в Новониколаевске скопилось видимо-невидимо, и такому определенному противобольшевистскому деятелю, как Мельникову, пришлось скрыться...

Это означало прекращение всякой работы этих групп.

Уехал на восток Верховный, уехал ген. Сахаров. К обороне как будто предназначалась линия ст. Тайга, куда отошла уже 1-я армия генерала Пепеляева, растянутая до Ачинска, за которым стоял сильный своим гарнизоном и артиллерией Красноярск.

Тогда на сцену выступили иные мотивы. Все чаще и чаще отчаяние закрадывалось в душу армии. Все чаще и чаще произносилось слово «мир»,— как тонкое, неуловимое дуновение ветра, проносилась мысль, что большевики «уже не те»... Ничего, что эшелоны продолжали стоять длинной лентой до самого Кривощекова и красные отрезали их каждый день, захватывая все новую и новую добычу, грабя и обирая их беззащитное население. Может быть, даже что именно эта разруха так и действовала панически. Ст. Новониколаевск с ее разношерстной, международной комендатурой, с ее взяточничеством за вытягивание эшелонов на линию, с ее кормлением железнодорожников американцами, раздававшими направо и налево свои товары, ром, деньги, чтобы выехать, и даже медали высшим чинам за спасение (такую медаль получил от американского консула заведующий эвакуацией) — все это действовало деморализующе. И вот 7 декабря выступает открыто с предложением «демократического мира» молодой, 24-летний командир 2-го Барабинского полка, полк. Ивакин. План был таков: мир с большевиками, демократическая свободная Сибирь, армия, во главе которой остается ген. Пепеляев.

Между прочим, известна телеграмма полк. Кононова, нач. штаба, ген. Пепеляева, полк. Ивакину, в которой ему предлагалось поддержать в глазах общественности ген. Пепеляева, но на время не более двух-трех дней, потому что тот стоял на точке зрения продолжения Гражданской войны, с чем не согласна партия эсеров, отстаивающая необходимость демократического мира.

Солдаты Барабинского полка, на который предполагалось возложить оборону Новониколаевска с юго-западной стороны, в эту авантюру вовлечены не были. Все это было делом небольшого числа горячих молодых голов, забывающих, что для прекращения войны нужна сильная организация, сковывающая и общество, и армию и дающая возможность проводить свои желания, забывающих, что такие декларации, разваливая то, что имеется, ведут просто к расплескиванию пламени войны.

По приказанию командного состава барабинцами были заняты правительственные учреждения, и ночью небольшой отряд их пришел на вокзал для того, чтобы арестовать находящегося там командующего 2-й армией, ген. Войцеховского[53].

Очевидцы передают, что отряд этот долго стоял на перроне в нерешительности, не зная, что ему делать. Так точно держалась и охрана штаба. И только благодаря распоряжению энергичного начальника штаба польской дивизии, полк. Румши, пришедшие были арестованы, как арестованы были и остальные участники заговора.

По приговору военно-полевого суда полковник Ивакин и около 30 чел. офицеров были расстреляны.

В эти дни распада и слабоволия, дикой неподчиненности и неорганизованных действий, в Новониколаевске делать было больше нечего. С грустью закрыл я отделение Р. Б. П.; служащие сели в вагоны. Надо было действовать дальше, искать возможную точку приложения сил. И вот, соединившись с помощником ген. Голицына по добровольческим формированиям, П. П. Васильевым, выехали мы на лошадях через Тайгу в Томск, где в то время стоял штаб ген. Пепеляева — всеобщая надежда и упование.

Что это было именно так, что на 1-ю армию, фактически не имевшую за все время своего существования ни одного поражения, возлагались крупные на-

дежды, доказывает, что туда поехал на совещание оставивший Совет министров В. Н. Пепеляев. От братьев-сибиряков все упорно ждали чуть ли не чуда...

Выехали мы с управлением добровольческих формирований, вокруг которого группировались офицеры, добровольцы, крестоносцы и вообще люди более или менее активные. Из нас сформировался отряд, человек до 100, командование над которым принял войсковой старшина Оренбургского казачьего войска Г. В. Энборисов.

Неделя путешествия со ст. Тайга была удивительно удачной. Мы ехали по богатым, старожильческим селениям, среди великолепной таежной природы. Яркие, румяные вечера среди могучих, тихих, как храмы, темно-зеленых кедровников, где снег, шапками наваленный на пни и стволы поваленных деревьев, образовывал ряд фантастических фигур, вроде знаменитого Campo Sancto в Генуе, сияющие морозные утра... Только белки, перескакивая с дерева на дерево, обивали снег целыми тучами, да слышался монотонный скрип саней. Ночевали по огромным селениям, где дома, сложенные из темного кондового леса, напоминали собою картины Рериха. Двухэтажные дома чалдонов, сверкающие от масла желтые полы с разноцветными дерюгами, стеклянные горки с золочеными чашками и чайниками,— все это являло вид необыкновенно утробной, сытой, медлительно тяжеловесной жизни.

Как небо от земли, уже в этих давно заселенных местах, отличались от чалдонских сел новосельческие деревни. Неприспособленность, отсутствие инициативы, экономическая зависимость от старожилов так и сквозила в каждой семье. Все это, конечно, должно было дать значительную пищу Гражданской войне, которая уже надвигалась своими тяжелыми шагами вслед за нами.

В одно морозное утро, вынырнув из тайги на линию ж. д., увидели мы типично шатровые крыши домов города Тайги, и в то же время с ужасом увидел я, что четный рельсовый путь занесен на четверть снегом. Ясно было, что эвакуация велась по одному лишь пути, что иначе означало полный ее крах.

Остановившись в семье какого-то зажиточного железнодорожника, неутомимо жаловавшегося на то, что инженер получает значительно больше него, а встает позже, пошли мы на станцию справиться, где находится ген. Пепеляев и его штаб, и были охвачены сразу же атмосферой недавно происшедшего здесь, на ст. Тайга, инцидента.

Как известно, когда поезда ген. Сахарова и Верховного находились на ст. Тайга, братьями Пепеляевыми, поддерживавшими кампанию против главнокомандующего, ген. Сахарова, адмиралу Колчаку был ими предъявлен ультиматум. В требовании этом было 3 пункта, в числе коих были отставка ген. Сахарова, своими докладами Верховному губившего все дело, назначение главнокомандующим ген. Дитерихса и созыв демократического Сибирского законодательного собрания.

На первые два условия Верховный правитель тотчас согласился, сам назначив следственную комиссию над действиями генерала Сахарова и отрешив его от должности. Ген. Дитерихс на посланную ему телеграмму ответил отказом, после чего был назначен ген. Каппель. Согласился Верховный сначала и с третьим пунктом, но потом отложил решение это до Иркутска.

Как я указал уже выше, положение было таково, что армия ген. Пепеляева, оттянутая ранее в район Томск—Тайга—Ачинск, представляла в сущности собою последнюю надежду. Тем более было у братьев оснований разговаривать таким образом, что блестящий, бело-зеленый гренадерский батальон ген. Пепеляева долго стоял на вокзале, выставив на вок-

зальной платформе, совместно со стоявшим здесь 6-м Мариинским полком, пулеметы.

Переговоры длились около двух суток. Генерал Сахаров, держась с большим достоинством, отказался от командования, дабы в такое смутное время не осложнять положение ненужными трениями.

«Братья-разбойники», как их называли тогда, уехали в Томск. Ушел и поезд Верховного, чтобы так трагически застрять в Нижнеудинске. Вскоре после него проехал в своем поезде из Томска на восток и В. Н. Пепеляев, чтобы разделить участь адмирала.

Генерал Каппель вступил в командование расстроенной, пришедшей в брожение армией, лишь в лице некоторых, главным образом воткинских и ижевских частей, героически в арьергардах дравшейся с наседавшим противником...

Этот пепеляевский инцидент опять выявил наше общее свойство — анархичность и неорганизованность. Прямой и решительный Пепеляев, дерущийся среди своих солдат, однако, не был никаким политиком. Тайгинский инцидент, если и привел к персональной смене главнокомандующего, то он воочию показал широкой массе и солдат, и общества, до каких границ дошли затруднения центральной власти, если она вынуждена прибегать к таким средствам. Эта мысль не преминула превратиться немедленно же в известные центробежные стремления, в желание отдельных лиц уклониться из такого организма, который не импонировал больше своим порядком. И за водкой, на ст. Тайга, среди приятелей — прежних сослуживцев, офицеров 6-го Мариинского полка, я услыхал на сей счет совершенно недвусмысленные заявления:

— Как начальство, так и мы! Пойдем куда-нибудь на Лену золото рыть — по Джеку Лондону. Довольно тянуть волынку...

И это тем более печально, что политика-то во всем этом деле, в деле яркого, решительного выступления обоих братьев, оказалась в других руках. Цели своей достигли не они, как это скоро показали развернувшиеся события, а кто-то другой. Восстание в Новониколаевске, тайгинский инцидент, восстание в Томске, выступление генерала Зиневича в Красноярске, переворот, устроенный шт.-капитаном Калашниковым в Иркутске, наконец, волнения во Владивостоке, оборвавшие с востока русскую государственную власть,— все это оказались звенья единой цепи[54]. И в штабе ген. Пепеляева сидели те люди, которые держали нити этих событий. Он же — прямой, решительный, вовсе и не политик, был лишь их жертвой.

Через два дня, после ночи езды с большевиками-машинистами на паровозе, я был в Томске.

VI

БРОШЕН ТОМСК

В половине декабря приехали мы в Томск, но после каких перемен! Омск был занят, весть о занятии Новониколаевска в ночь с 13 на 14 декабря уже докатилась до Томска. Сопротивления никакого по реке Оби оказано не было, и прямой тракт — Новониколаевск—Томск заставлял ждать в скором времени падения и этого города.

Но город по-прежнему был спокоен. Удаленное положение его на Сибирской магистрали, этот «appendix», по выражению томичей, и беспокоиться не позволял об эвакуации. По ж. д. выбиться с ветки на магистраль нечего было и думать. И если в Омске, Новониколаевске предбольшевистское настроение было весьма тревожным, если там была известная

тревога, известные приготовления, то Томск покорно и лояльно склонял свою выю пред грядущим диким ярмом.

Во всех кругах, неизвестно откуда прилетевшее, царило одно убеждение: большевики стали другими. Или тем успокаивали себя, потому что делать, в сущности, ничего больше не оставалось, или, может быть, то был умный, ловкий, тонко заброшенный слух.

Как логический вывод,— отсюда следовало снова: мир. Чего, в самом деле, воевать, раз изменились они, противники наши... И это слово повсюду висело в воздухе: мир, мир во что бы то ни стало...

Снег покрыл улицы города, и они стали нарядные, опрятные, не то что в октябре. Опять тянулись уходящие воинские части, обоз, как и из Омска, но в обозах этих бросалась в глаза подобранность того, что увозилось: везли самое необходимое — оружие, патроны, снаряжение, продовольствие, да и в самых войсках чувствовалась некоторая налаженность: солдаты с бело-зелеными ленточками на шапках-«колчаковках» выглядели молодцеватыми.

Вместе с войсками по тракту на Мариинск уезжали и частные лица. И как все-таки изобретателен русский человек: помню, как на улице, на которой помещается книжный магазин Макушина, стояли приготовленные в поход дровни. На них сооружено было нечто вроде домика, даже с окошком и трубой, из которой шел дым.

Первым нашим визитом был, конечно, визит в штаб армии. Загнанные в тупик на ст. Томск-2, стояли три тяжелых эшелона штаба. Будучи приняты начальником штаба, полковником Кононовым, спокойным молодым офицером, одного из последних выпусков Академии Генерального штаба в Петрограде, комиссаром 5-й армии при Керенском,— мы изложили ему цели своего приезда. П. П. Васильев развил свой взгляд на работу по созданию добровольческого движения

в районе 1-й армии, я поддержал его моими соображениями насчет работы печати в этом направлении.

В ответ от полковника Кононова мы услыхали буквально вот что:

— Дело в том, что боев западнее Томска не будет, армия оттянется восточнее. Так как при этом она войдет в район бесхлебный, то операций нельзя будет вести, за недостатком как снабжения, так и угля, ибо Анжерские копи перейдут в руки большевиков. Вся же железная дорога восточнее занята, и на довольно продолжительное время,— чехами. Армии, таким образом, действовать не придется; операции могут свестись только к партизанской войне, совершенно бесполезной. Я удерживаю генерала Пепеляева от этого шага, но как человек решительного волевого напряжения, он неудержим. Уже все дело проиграно тем, что в Тайге оно было не доведено до конца и не был сброшен адмирал Колчак. Поэтому боюсь, что ваша работа тоже будет бесполезна, потому что, когда вы будете в Мариинском и Ачинском уездах, там будем уже и мы...

Этот план оправдался. Хотя Васильев и получил бумагу от ген. Пепеляева, назначающего его уполномоченным по формированию добровольческих частей в названных уездах, а также и в Красноярском, но пустить в ход ее ему не удалось: события разыгрались чрезвычайно быстро, скорее даже, нежели предполагал полк. Кононов.

Обезоруженные такими планами, провели мы два-три дня в Томске. Было так приятно хоть немного отдохнуть после этих передряг, этих тревог пути.

Томск, как я уже сказал, был до отказа насыщен слухами о мире. Но не только носились в воздухе слухи эти и чаяния. Разговоры шли и более определенные. Говорили о том, что начальник штаба, полковник Кононов, ведет переговоры по этому поводу с левыми центральными социалистическими кругами,

вставшими на точку зрения примирения с советской властью, однако с требованиями известных демократических гарантий.

Переговоры и встречи эти велись у богатого присяжного поверенного и мецената В. П. Зеленского, состоявшего на военной службе и устроившегося в редакции газеты «Русский голос», возглавлявшейся проф. М. М. Хвостовым[55]. В качестве же одного из главных деятелей этого объединения называли А. И. Гавриловича, беженца-пермяка, весьма любопытную, чисто бытовую личность.

Старый «политический», ссыльный моряк, он в 1917 г. после революции выплывает в Перми, где играет видную роль в Совете солдатских и рабочих депутатов. Во время Корниловского выступления в громовой речи «клеймит позором» гарнизонное собрание офицеров и призывает их «к творчеству». После Октябрьского переворота сходит со сцены и уже с весны начинает устраивать офицерские организации. После захвата Перми генералом Пепеляевым, отходит от работы ввиду «разочарования», но, эвакуировавшись из Перми в Омск, желает постоять против большевиков. Я предлагал ему все технические средства Р. Б. П., чтобы он «со товарищи» использовали их как угодно, без всякого контроля с нашей стороны, но только для борьбы — против большевиков. Долго у нас шли переговоры, но, наконец, оборвались.

— Мы боимся, чтобы не было зубатовщины,— сказали нам они.

Однако А. И. выразил желание работать по вербованию ижевских и воткинских добровольцев, почему и поехал в Томск, где был начальником вербовочного пункта. При свидании с ним я постоянно видел, как, несмотря на успешную работу свою, он страстно возмущался царящими кругом порядками. Действительно, санитарное дело в Томске стояло ниже всякой критики: беженцы гибли от разных тифов, и причи-

ной всему этому была самая обыкновенная русская косность всех — от начальника до подчиненного. После же крушения Омска он также горячо принялся «организовать» мир, как организовал ранее борьбу. Где-то теперь и как действует неуемный, непрактичный, всё и вся портящий русский интеллигент!

Так вот этот-то самый миротворец, решив, как ныне проф. Устрялов, что времена повелительно требуют мира, «пересмотрел» свою идеологию, что не составляло никакой трудности: есть у таких людей, пострадавших когда-то, тенденция относиться к давнишнему страданию как к патенту на революционное дворянство и, ловко лавируя, наслаждаться получаемой с него рентой уважения и почета. Словно та рента их защитит от известной непочтенности подобного перелета в видах иудейского страха!

В этих совещаниях принимали участие и еще коекакие лица, между прочим, командир ранее 25-го Екатеринбургского адмирала Колчака полка, а потом 13-го Добровольческого, молодой полковник Герасимов. И я утверждаю, что план оставления Томска в описанном выше виде был выработан при участии этой компании, что подтверждается и самым характером оставления несчастного города.

В день оставления его, 17 декабря, если не ошибаюсь, по всем улицам был расклеен приказ генерала Пепеляева, контрасигнированный начальником штаба, о том, что «вся власть» в городе, ввиду отхода войск, передается им комитету самообороны.

Этот комитет, выбранный по всем правилам четыреххвостки и долженствовавший «выявить волю» обывателя города Томска, со страху уже залезавшего под кровать,— получил оружие для граждан, по рассказам, что-то около 6000 винтовок, пулеметы, ручные гранаты. И так-то чрезвычайно сложна психология человека, в первый раз взявшего в руки ружье, а тут ему приходилось еще опасаться, как бы его с

этим самым доказательством неблагонамеренности в руках не застали большевики.

И вполне понятно поэтому, что оружие попало не в те руки, которые следовало. С наступлением темноты в замерзшем, черном, опустелом городе началась отчаянная стрельба. Я выходил в это время от одного своего приятеля, куда принужден был пойти на обед, потому что все рестораны прикрылись, и, услыхав стрельбу, решил пойти узнать, в чем дело, в штаб Гренадерского батальона пепеляевской охраны, стоявшей в Доме науки под бело-зеленым флагом.

Был черный вечер, когда я добрался туда. Все кругом было темно, и только один электрический высокий фонарь на дворе Дома науки сыпал сухие, белые нити света. Внизу под ним копошилась черная толпа. На углу площади, выглядывая из-за домов, смотрело туда несколько человек.

Из толпы несся гул, потом грянул отдельный выстрел, раздался чей-то одинокий вскрик, и вдруг, прорезая гул толпы, прокричал один голос:

— Товарищи, тащи скорей пулеметы!

То был восставший батальон охраны генерала Пепеляева, готовившийся к обороне от 13-го Добровольческого полка и собиравшийся идти на ст. Томск-2, чтобы захватить командующего армией, выдать его красным и таким образом заключить мир.

Я пробрался к вокзалу. Отход штабного поезда предполагался около двух часов ночи. Но поезд был уже готов. С фонарями торопливо бегали офицеры, осматривая сцепления. Я сел в поезд, и вскоре он тронулся.

Профиль пути между ст. Томск-2 и Томск-1 представляет из себя впадину. Пыхтя, под отдельные трески выстрелов, двинулся в темноту огромный состав, набитый людьми и семьями. Спустился благополучно под уклон, но, при вытягивании на подъем, оборвались подрубленные тяжи, и весь поезд, прогудев с

огромной скоростью по мостику, промчался обратно на ст. Томск-2, откуда в это время выходил поезд с броневиками и где все, и служащие и солдаты, были увлечены грабежом оставшегося в эшелонах имущества.

Столкновения, на счастье, не произошло. Мы снова двинулись под гору, где и остановились на средине пути, среди снегов, в полной неизвестности.

Наконец, со ст. Томск-1 добыли наш паровоз, выкинули порвавшиеся вагоны и, обрезав на версту телеграфные провода, уехали на ст. Тайга.

Как потом сообщалось, Томск в течение двух суток был в руках грабящей город и склады черни, пока не вошли красные части.

И вот, начиная с этих дней, так безрассудно, нелепо оставленного Томска начинают разыгрываться на всей Сибирской магистрали кровавые предательские драмы заключаемого с большевиками мира, первый акт которой был неудачным выступлением полковника Ивакина. Что это выступление не было спорадическим, а им скрыто руководили другие руки,— явствует из того, что все эти выступления имели отношение к штабу генерала Пепеляева, во-вторых, из достоверных источников я слышал, что польскими войсками был захвачен и вскрыт направлявшийся в Новониколаевск в адрес полковника Ивакина вагон, по документам с сахаром из штаба армии. При вскрытии оказалось, что там были пулеметы Шоша.

Чья заботливая, миротворящая рука пересылала их?

Встретив на ст. Тайга наш отряд, я своих лошадей оставил следовать с ним, а сам двинулся по железной дороге. Было любопытно находиться в центре событий. До Мариинска, и даже двумя станциями дальше, мы доехали в штабном поезде 1-й армии. На ст. Мариинск ген. Пепеляев из громоздкого своего штаба сформировал небольшой походный штаб, с которым и

двинулся против большевиков. Война приняла, действительно, партизанский характер, но не была удачной. Генерал Пепеляев, по обыкновению, принимал личное участие в боях, сражаясь в арьергарде, но заболел сыпным тифом и был вывезен чехами, распустившими слух о его смерти.

Состав штаба, как я указал выше, не ушел далеко, хотя все население огромного поезда принимало самое деятельное участие в его продвижении — таскали на паровоз снег ведрами, ведрами же передавали из предусмотрительно и расчетливо прицепленных вагонов к хвосту поезда уголь на тендер. Вся комендатура станций до Красноярска была в польских руках,— в чем немалую роль сыграла новониколаевская история, и движением эшелонов распоряжался полковник Румша. Распоряжения его сводились, в сущности, к постепенному оставлению одного за другим составов и продвижении вперед только польских эшелонов. Останавливались и сиротливо торчали на станциях беженские эшелоны, полные тревоги за свою грядущую судьбу, разыгрывались тяжелые сцены.

На одной из станций, помню, ночью, увидал я в одном месте много огоньков. Полагая, что там торгуют торговки,— пошел туда и увидал следующую картину. Под темным небом, в снегу, при свете недвижных на морозе свечек, у раскрытых сундуков, корзин копошилось много народу. То едущие выгружались из поезда в сани, отбирая с собою только необходимое, оставляя все остальное...

На станциях валялись дела, телефонные аппараты, взломанные несгораемые шкафы. Я наблюдал, как к одному такому подошел мужичок из местных, потолкал ногой в его развороченное брюхо и констатировал:

— Эх, для рубашек больно хорошо будет.

Подобная участь постигла и наш штабной поезд. После усиленного воздействия на паровозы всех,

кому не лень, один из них оказался сожженным, другой замороженным.

Остался и этот поезд. Крепко сетуя на себя за то, что из-за излишнего любопытства оставил лошадей, двинулся я вперед, пробираясь со случайными эшелонами.

По линии ж. д. шли целые толпы народа разного звания. Особенно тяжело было смотреть на женщин с детьми. Одна дама с девочкой лет восьми довольно долго путешествовала вместе со мною, забираясь на площадки вагонов, пока они шли, и, уходя дальше, как только поезд останавливался.

Двигались вперед только польские части да польские санитарные поезда. С одним таким санитаром ехал отряд американского Красного Креста, с которым мне и удалось добраться до Красноярска.

Но и польские войска были уже не те, что раньше. Первый польский полк, успешно дравшийся западнее ст. Тайга, на названной станции потерпел крупную неудачу и, бросив эшелоны, стал отходить пешком. Отдельные солдаты, часто без оружия, в отличных шинелях своих брели вдоль эшелонов, заходя в польские эшелоны только затем, чтобы поесть, деморализуя еще нетронутые части и своим видом, и своими разговорами, и ни за что не желая присоединиться к ним. На все приказания они отвечали, что сборный пункт для них в Красноярске, и уходили при первом удобном случае.

Деморализация эта усилилась еще тогда, когда чехи не пожелали пропустить даже ни одного санитарного польского эшелона вперед, и сдача поляков на ст. Клюквенной, 12-тысячной дивизии — банде красных в 500 человек — явилась печальным эпилогом к печальной их истории.

В довершение всего, и без того напряженная, атмосфера сплоченного движущегося человеческого муравейника по полотну железной дороги была на-

калена рассказами о бедствиях, постигавших захватываемых красными. И, действительно, сцены были ужасны.

Так, на ст. Тайга, застрелив всю свою семью, застрелился один полковник. При захвате красными броневиков перед ст. Тайга самоубийства происходили десятками. Вообще по дороге свирепствовала эпидемия самоубийств, и, психологически, возможность покончить со всеми этими передрягами пулей в висок вызывала в вас определенно приятное чувство возможности близкого покоя.

Надо помнить далее, что при этом не только линия железной дороги была запружена потоком людей и все дороги кругом, снежные, избитые, кишели обозами. И все это двигалось, шло, брело, ехало, туда, на обетованный восток[56].

Что же их ждало на этом востоке, их, и воинов, и не воинов, но объединенных всех одним — противобольшевизмом?

На одной из станций, когда еще не был кинут эшелон Пепеляевского штаба, я подошел к полковнику Кононову, который сдал свою должность полковнику Штальбергу, а сам с ген. Пепеляевым не поехал.

— Скажите, г-н полковник, как обстоят дела на востоке?

— Отлично. Я только что разговаривал по прямому проводу с генералом Зиневичем в Красноярске... Он сдал всю власть земству и работает с ним в полном контакте, при полной поддержке всех общественных организаций и кооперативов... В армии прекрасное настроение...

— А в Иркутске?

Тревожные слухи об Иркутске докатывались до нас уже тогда.

— Да, там были выступления, но теперь у власти стоит земство, войсками командует штабс-капитан Калашников, так что и в Иркутске все прекрасно...

Потом полковник Кононов пешком шел было навстречу этому прекрасному, но, кажется, не дошел. Но зато, когда мы добрались, наконец, до Красноярска, то первое, что я прочитал в газете, было объявление о заседании в тот день Совета солдатских и рабочих депутатов...

Это было действие объявленных ген. Зиневичем свобод и мира...

VII

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЗИНЕВИЧА. БОЙ ПОД КРАСНОЯРСКОМ. НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Итак, сзади у нас были красные, в биологическом порыве за пищей врывавшиеся в сытую Сибирь; порыв этот, несомненно, должен был угаснуть по мере удовлетворения. И действительно: пятая советская дивизия, дойдя до Новониколаевска, в нем и пошабашила — дальше не пошла. За ними лишь шла дивизия Азина, которую можно было бы легко задержать. Но главный наш враг был не там. Города, эти оазисы государственности, точки сил, были отделены друг от друга эвакуацией «союзных» армий. Мы видели, как поляки останавливали и, в конце концов, остановили всякое движение на восток. Чехи сделали лучше: от Красноярска и до района семеновских войск и японских частей линия железных дорог была исключительно в их руках.

К нашим услугам оставался лишь телеграф для бесполезных уговариваний не бороться и опускаться сразу на дно советской власти.

К тому же, одновременно с таким положением вещей, подняли голову и партизаны. Енисейский район

со Щетинкиным, с Роговым и другими стал угрожающ для проходящей армии[57].

Всем певцам советской власти, в ее «могучем походе» на восток за нами видящим доказательство ее силы, я бы задал один вопрос: а если бы Советская Россия оказалась бы так разорванной на клочки прохождением «нейтральных войск», оказалась лишенной возможности перебрасывать отряды с места на место для подавления вспыхивающих неотвратимо мятежей,— не так же ли бы легко пала и советская власть, как власть Омского правительства? *Да разве само выступление чехов в 1918 г. не повело к тому же самому, к свержению повсюду большевистской власти, как только она оказалась лишенной коммуникации?*

Если бы линия железной дороги оказалась связанной с армией, то картина значительно была бы другой. Пятьсот ижевцев, посланных в тот же Иркутск, сумели бы поддержать там равновесие.

Этого не дали сделать чехи.

А, кроме того, в этих разобщенных, разорванных друг от друга кусках и начинает действовать особенно сильно имеющаяся организация. Я говорю о той эсеровской организации, которая все время была в связи со штабом генерала Гайды и имела агентов в штабе генерала Пепеляева[58]. Выступление полковника Ивакина кончилось неудачно. Томск был пропитан эсеровскими маниловски-провокационными мечтаниями, и самый факт передачи города в руки «демократического органа», а, в сущности, на поток и разграбление красноармейцам исходил оттуда. Действия в Красноярске генерала Зиневича, командира 1-й дивизии пепеляевской армии, горячо одобряемое, как мы видели, полковником Кононовым, лежали вполне в орбите этих идей. Наконец, в Иркутске выступление штабс-капитана Калашникова и бывшего начальника Осведомительного отдела при шта-

бе Сибирской армии, такие фамилии, как фамилия поручика Кошкадамова, в роли коменданта города Иркутска — бывшего редактора «Голоса Сибирской армии» — армейской газеты Сибирской армии, поручиков Никольского, Галкина, наконец, восстание во Владивостоке генерала Гайды, вокруг которого группировались такие работники этих именно кругов из штаба Сибирской армии, как убитый там д-р Григорьев, издавший в Перми 12 № газеты «Отечество» и ухлопавший на это до 120 000 денег,— все это птенцы одного гнезда, гнезда Гайды.

Вся эта компания разъехалась из армии, как только произошел известный конфликт Колчак — Гайда, и расселась по всем отдаленным пунктам Сибири и Дальнего Востока, держа связь со штабом генерала Пепеляева. Что связь эта была, доказывает, например, такой факт: пишущий эти строки, после отъезда своего из армии в Омск, получил телеграфный запрос полк. Кононова, с просьбой сообщить, где находился в это время ген. Гайда.

Кто же были эти люди, занимавшиеся систематически тем, что в оторванных от армии местах они подымали восстания, отменяли власть, сажали земство, отворяя, таким образом, демократические ворота, куда лавой лились большевики,— кто они были, предатели или глупцы?

Между ними были, конечно, предатели. Но, по большей части, то были глупцы. Они искренно верили, что создадут какое-то новое небывалое правительство, «*земское*»,— слово, которое чрезвычайно импонировало чехам, понимавшим его в смысле «всенародного», и, прекратив «бойню», остановив большевизм, заживут в демократическом государстве.

В беседе с д-ром Гербеком, редактором «Чехословацкого дневника» — уже в Верхнеудинске, я узнал, например, что Калашников, совещавшийся с ним накануне переворота (вот он, нейтралитет!) заявил ему:

— Самым большим моим несчастьем было бы то, что мне после переворота пришлось бы служить в Красной армии.

Д-р Гербек рассказывал о том, что вообще большинство военных переворотчиков, после завершения такового, собиралось уйти в учителя, в кооператоры, вообще заняться, говоря еврейским словом,— культурничеством.

Вспомним далее, что едва ли не восьмым декретом Иркутского политического центра были отменены погоны и введены нарукавные чешские знаки с обозначением чинов.

Штабс-капитан Калашников не терял, таким образом, своего чина, а, верно, рассчитывал приумножить его.

Я охотно допускаю, что с их стороны была известная искренность. Но со стороны их главарей, того же ген. Гайды, *так сводившего свои личные счеты по Омску* с покойным адмиралом, было колоссальнейшее предательство.

Итак, на востоке, вопреки заявлению полковника Кононова, в разорванных друг от друга ячейках-городах шла энергичная работа по разложению гарнизонов.

Образцово работу эту проделал ген. Зиневич, как известно, выступивший в газетах с письмом к Верховному правителю с обвинениями его в разных грехах. После передачи власти земству в Красноярске, действительно, наступило успокоение. Огромный гарнизон митинговал и распадался; с приближением фронта все страстнее жаждал мира, и слово мир — вот что оказалось у всех на устах.

При таком положении вещей, приближение армии не могло успокоительно действовать ни на самого генерала, который чувствовал, что с ним не согласятся ее вожди, ни на его бравых сподвижников. И вот по телеграфу начинаются классические переговоры ге-

нерала Зиневича с комиссаром Грязновым о мире,— переговоры между Красноярском и Мариинском и Ачинском и т. д. Одновременно ведутся переговоры и со Щетинкиным, между прочим, жена которого заседает в это время в Красноярском совдепе.

Генерал Каппель, главнокомандующий, об этих переговорах не уведомляется, но о них, конечно, знает. Фронт приближается неуклонно, все неяснее становятся обещания комиссара относительно «гарантий», но все тревожнее делается настроение гарнизона, не без основательности опасающегося, как бы не пришлось держать ответ за такое миролюбие.

В Красноярск я прибыл числа 5-го января, где и встретил одного офицера из нашего отряда. В штабе генерала Зиневича он стал просить пулеметов для отряда, собирающегося идти дальше. Сам Зиневич в это время был занят очередным разговором по прямому проводу, и его принял новый начальник штаба, какой-то капитан; полковник Турбин, старый начальник штаба, ушел со своего поста.

На просьбу выдать вооружение вполне надежному отряду было отвечено так:

— Мы заключаем мир, прекращаем кровопролитие. Делайте то же и вы.

Мир — вот те слова, которые носила в тот день на красных флагах небольшая, но чрезвычайно агрессивно настроенная кучка солдат.

И в связи с этим настроением гарнизон решительно заявлял, что никакие части отходящей армии пропущены через город на восток не будут.

Город являл вид растерянный, в штабах слонялись без дела смущенные, подавленные офицеры. Лишь несколько персон развивало усиленную деятельность. И среди них, известный Дальнему Востоку, эсер, недоучившийся студент, Евгений Колосов, член Учредительного собрания[59].

Демагог в речах и журналистике, беззастенчивый и дерзкий, участвовавший в каком-то из дальневосточных противобольшевистских правительств, он развил до крайних пределов свою агитацию. Все время воздействуя на наивного, военного по преимуществу, недалекого ген. Зиневича, он владел вполне и его языком, и его именем.

Было ясно, что неминуема новая междоусобная схватка между отступающими каппелевскими войсками и разнузданным, пьяным от сладких лозунгов гарнизоном гор. Красноярска. И мы с моим спутником-офицером на лошадях двинулись на запад, навстречу армии.

На ночь остановились в огромном «семиверстном» селе Заведееве. В том доме, куда мы приехали, были как раз собраны начальники отрядов, стоявших в селе.

После нашего доклада, на котором присутствовал полковник Луцков, начальник Осведомительного отдела 2-й армии, и который мне обещал сейчас же ехать к командующему армией, генералу Войцеховскому для того, чтобы довести до его сведения, что происходит в Красноярске, было решено идти на село Есаулово, что на реке Енисее, верстах в 20-ти севернее Красноярска.

Наутро вперед двинулась Иркутская дивизия, за ней вытянулись другие отряды. Между тем, в этот день, на гор. Красноярск повели наступление ижевцы и отряд генерала Макри. Вначале успешное — стрелки ворвались в город,— оно совершенно неожиданно сорвано было тем, что в тыл наступающим выдвинулся маневрирующий польский броневик.

Хотя у него никаких злостных намерений не было, но нервничающие цепи — ведь впервой приходилось видеть новых красных у себя в тылу,— откатились. Красноярцы обнаглели; пользуясь большим количеством пулеметов и артиллерии, которыми они владе-

ли, они поставили их кругом по сопкам; по дорогам, по которым тянулись обозы, шли части, ехали беженцы, семьи офицеров и солдат, закипел бешеный огонь.

С другой стороны, и части были плохо информированы, так как связь со штабами была потеряна. И вот вся масса войск, без всякого плана, без дорог, пешком, верхами, в санях двинулась вокруг Красноярска.

Передавали ужасные сцены. Дровни с женщинами и детьми скатывались в глубокие обрывы с диких, красноярских сопок, по-таежному, лишь с подсолнечной стороны покрытых мелким лесом, и погибали там. Погибали, истекая кровью, раненые. Наконец, в самих частях начался раскол — заключать мир или не заключать, и дело кончилось и сражениями, и убийствами.

В город втягивался Щетинкин; на село Вознесенское, что за Красноярском, были выдвинуты тоже заслоны. И, в конце концов, весь город превратился в военный лагерь, где одни сажали других, более поздних, в тюрьмы. Об ужасах, что творились в Красноярске над захваченными в походе офицерами, много писали потом в газетах. Да иначе и быть не могло.

Красноярск был той стеной, о которую разбилась, обегая ее, Омская армия. Немногие прошли мимо него, мимо его предательских, соблазненных во имя земского и демократического мира пулеметов, но те, кто прошел, те организовали новую армию — каппелевскую.

Покойный генерал Каппель, перед самым Красноярском, оставил свой вагон и сел на лошадь, под обстрелом огибая с 30 всадниками проклятый город. Лишь за Красноярском присоединился он к частям.

К частям! *К сожалению, частей не было.* Вокруг Красноярска текла разбитая, разрозненная масса, не жалевшая жизни в одном лишь стремлении своем — уйти на восток, существом своим органически отвергая возможность мира с большевиками. И лишь

на следующем этапе, у города Канска, откуда вышел весь гарнизон и засел в селах по тракту на юг и на север, не пропуская двигающуюся волну людей, стала из нее снова сбиваться армия.

В снежную, мрачную ночь кануна Рождества остановился наш отряд в селе Балай, в трех верстах от станции того же имени. Я с двумя унтер-офицерами, А. Н. Качиным и живым и огненным А. И. Огневым, поехал на станцию ориентироваться в обстановке. И опять в тусклой тьме зимнего неба веял белый, мертвый снег.

На станции была латышская охрана от латышского уезжавшего батальона. Крепкие, сытые люди, в никогда не виданной нами ранее форме, отлично одетые, сидели в аппаратной... Чужие — в нашей — на *нашей*! — железной дороге, в то время, как мы, хозяева, являемся из ночи, тьмы, запорошенные проклятым снегом... А где же наши?

А вот один... С алыми пятнами разгоревшегося лица, с лихорадочно блестящими глазами, сидел тут же и начальник станции со своими малиновыми кантами. Он весь ушел в трубку диспетчера, очевидно, прислушиваясь к тому, что происходило в Красноярске.

Мое предположение оказалось верным. Долго проблуждав по латышским вагонам, отыскивая их коменданта и найдя, наконец, огромного детину, который заявил мне, он ничего не знает, что их единственная цель — уехать на родину, в свою страну и не вмешиваться в чужие дела,— я вернулся в аппаратную. Оба спутника мои бросились ко мне:

— Начальник станции большевик. Говорит, что все равно вы никуда не уйдете, не пройдете Канска... Разрешите его убить...

Я нисколько не сомневаюсь, что он был бы убит, несмотря на мое приказание не делать этого; но латыши, спокойные и медлительные, куда-то увели и

скрыли этого лихорадочно-возбужденного, выкрикивавшего угрозы человека.

В это время подошел чешский эшелон. В классных вагонах были освещены все окна, оттуда доносилось женское пение, граммофон.

Так *они* встречали Рождество.

Я попросил коменданта поезда. Ко мне вышел плотный чех и на плохом русском языке выразил неудовольствие, что я с винтовкой.

— Я вас должен предупредить,— заявил он весьма строго.— Между нами и красными заключено соглашение, по которому никакие вооруженные банды не могут допускаться в 30-верстную полосу около линии железной дороги. Поэтому я должен бы был вас и ваших солдат разоружить.

Это соглашение было для меня решительной новостью. Чехи всегда были грозой большевиков, и такая перемена политики была чрезвычайно неожиданна. И где и когда успели они снюхаться?

Раздосадованный и известиями, и обстановкой, горячо протестуя против сливания наших «банд» в одно с большевистскими, я спросил, что известно моему собеседнику о Красноярске. Правильны ли слухи, что он занят ген. Войцеховским?

— Я этого не знаю,— ответил поручик. — С нами едет полковник, русский, Генерального штаба... Он вас лучше информирует...

И в полосе света в раскрытую дверь купе, в табачном дыму, звоне шпор и женском голосе, предстала предо мной упитанная фигура полковника...

С полупоклоном, не подавая руки, бархатным баритоном, усиленно ковыряя в зубах, он спросил, что мне, собственно, угодно.

— Я хотел бы знать, г-н полковник, в каком положении Красноярск... Занят ли он ген. Войцеховским или нет?

— Генералом Войцеховским?— Н-не думаю,— ответил задумчиво полковник, ковыряя в зубах... Да, собственно, зачем генералу Войцеховскому и занимать его? — Н-не думаю.

Я резко сказал, что мне безразлично, что думает полковник, что я хотел знать, что он сам знает, и взбешенный, выскочил на воздух.

Окна вагонов по-прежнему сияли в ночной тьме и по-прежнему звенела гитара:

> А теперь приедешь к Яру,
> Хор цыганок не поет...
> Соколовского гитара...

Меня ждали промерзшие солдаты. Молча прошли мы к коням. Там на нашего возницу нападали два каких-то железнодорожника, обвиняя его в контрреволюционности и требуя выдачи наших лошадей в качестве народного достояния.

Мы прогнали их ударами прикладов и выстрелами. А когда выехали за околицу, вслед нам раздались выстрелы.

При свечке, в свете которой блестел тускло самовар, делал я печальный доклад нашему командиру полковнику Энборисову.

А назавтра было Рождество. Утром в избу явился с визитом в новой шинели с орденами капитан Смыслин, впоследствии прославившийся реэвакуацией, и др. Два священника, ехавшие с нами в нашем отряде, отпели обедню в церкви, на которой присутствовало все село,— священника у них уже не было — убежал. А после обедни двинулись дальше по снежным дорогам, выезжая и въезжая на зорях все вперед, к какой-то неопределенной цели, взыскуя некоторый базис, на который можно было бы опереться.

VIII

ОКРУЖЕНЫ В ГОЛОПУПОВЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОТРЯДОВ. НОЧНЫЕ ЛЕБЕДЕВ И САХАРОВ

Канска мы все ждали с некоторым волнением, потому что речи, подобные речам железнодорожника, доходили до нас отовсюду: — погодите, вот ужо покажут вам под Канском! Было известно, что в самом Канске сильный гарнизон, да и район Тайшета с его партизанскими отрядами не обещали особых удобств для прохождения.

Между тем что мы могли предоставить со своей стороны? — Если какие-нибудь более или менее крупные части и были, то они были затеряны в массе мелких осколков, либо так, как Иркутская полного состава дивизия, думали только лишь о своем районе, откуда были ее главные контингенты, о своем доме, чтобы там разойтись. Как я сказал уже выше, все это после Красноярска шло совершенно самостоятельно, не имея никакой связи между собой, подверженное и слухам, и панике.

Армия шла несколькими колоннами — вдоль железной дороги, южнее ее и севернее, постепенно переваливая через полотно и беря южнее. Так, например, прошли части 3-й армии ген. Каппеля под его водительством, сделав беспримерно трудный поход по реке Кан и срезав 80-верстным переходом неезженной снежной дорогой, тайгой, расстояние двумя действующими трактами[60]. Вообще надо отметить, что движению армии чрезвычайно помогли те плановые дороги, что в своей огромной культурной работе разбивало Переселенческое управление.

В сплошных кондовых тайгах, заваленных снегом, где рыси и козы составляли чуть ли не единствен-

ное население — вдруг оказывались проложенные и остолбленные тракты, мосты перегибались над оврагами. В селениях обширные, светлые здания, школы, изящные кокетливые церкви.

Вторая армия шла трактом, прямиком, но этот прямой путь был труднее более сытого бокового.

Однако относительный порядок движения установлен был только лишь после Канска; такой разрозненной лавиной вошли мы в его район.

Переночевав в деревне, кажется, в Татьяновке, достигли мы села Голопупова. В огромном селе никого еще не было, кроме каких-то вырвавшихся вперед госпиталей, да небольших обозов. Хозяйка нашего дома на вопрос, где муж, сердито ответила, что в ночь перед приходом нашим его «угнали в подводы» в село Аманаш, что лежало как раз на пути пред нами по нашему маршруту.

— Кто потребовал?

— А мы разве знаем?

Я отправился к старшине. Старшина и клялся, и божился, что никаких подвод он не отправлял. Однако в его бумагах мы нашли следующую бумажку.

Вот она лежит передо мной, эта бумажка — плод старой режимной канцеляристики с эсеровским, стиля модерн, духом.

На бланке председателя Аманашской волостной земской управы написано:

«Старосте села Голопупова.

Предписывается вам нарядить и отправить в село Аманаш 50 подвод в распоряжение командира отряда революционных войск тов. Пугачева; фуража взять на три дня».

Подпись.

Ясно, что село Аманаш было занято. Было приказано остановить некоторые готовые двинуться вперед обозы. Сзади подходили отряды. И вот началась у нас спешная организационная работа. Спешная, но бес-

толковая. Нигде, кажется, яснее всего не вскрывалась та суть русского человека, которая так свирепствует над нами теперь,— это полная неспособность в трех словах переговорить о деле, об общем деле, сговориться и решить.

Ясно было, что в таком виде, как мы шли до сих пор, мы были абсолютно небоеспособны. Ясно было, что было необходимо из мелких отрядов составить один крупный, объединенный командованием, которым и двигаться вперед. Начались бесконечные переговоры. Из наиболее крупных был в селе наш отряд, остаток 13-го Добровольческого и 25-го адмирала Колчака полков, под командованием молодого, но крайне нервно настроенного полковника Герасимова, штаб и остаток морской стрелковой дивизии под командой адмирала Старка, крупная кавалерийская школа около 200 сабель полковника Толкачева, остаток 1-й кавалерийской дивизии под командой генерала Миловича, остаток Тобольского отряда особого назначения под командой полковника Колесникова.

В темных, душных избах начались бесконечные совещания командного состава. Разговор пошел о том, кому командовать. Наиболее опытным во всех подобных делах был, несомненно, наш командир, войсковой старшина Энборисов. После долгих замаскированных неудовольствий по поводу его малого чина,— решили подчиниться ему. На должность начальника штаба к нему — полковник Герасимов предложил своего помощника по должности командира полка, поручика Роджерса, представленного, между прочим, уже в полковники, но так и не получившего ни одного чина в течение двух лет. Это вызвало оппозицию со стороны присутствующих, несмотря на указания отменных боевых качеств названного кандидата. На должность начальника штаба выдвинули тогда капитана Р. Озолина, начальника штаба морской дивизии.

Надо было действовать. Выслали разведку кавалерийской школы, которая и вернулась через два часа, потеряв одного убитым, двух ранеными. Село Аманаш было занято красными, расположившимися в подвалах крайних домов и под домами, и, очевидно, напряженно ждавших, потому что первой командой, которую услыхали близко подъехавшие в лунную ночь наши дозоры, было часто — Начинай! Они, очевидно, лежали все время в цепи.

В это время получены были известия, что селения и правее, и левее селения Аманаш оказались тоже занятыми отрядами противника. Положение стало становиться серьезным. Нам не были известны силы красных, по некоторым данным, они были значительны. С другой стороны — нам абсолютно неизвестны были наши силы — сколько пришло нас. Психологически понятно, что сведения об этом были панические, да и моменты «заключения мира» уж слишком у всех были в памяти.

В это-то время и раздалась в некоторых наиболее сплоченных отрядах мысль — уйти в Монголию, чтобы двигаться ею в восточном или даже западном направлении — в Семиречье, в Алтай, где, по нашим сведениям, были значительны оставшиеся там наши части (предложение адмирала Старка).

Тем более мысль эта была приемлема, что называли целый ряд местных лиц, которые неоднократно ходили в Монголию через Белогорье. Таким образом намечался как бы выход из создавшегося положения.

Наступила ночь. А части все подходили и подходили, запрудив, наконец, собою все огромное село. Собственно, это был первый в этом маршруте сбор, смотр количества имеющихся «наших». На улицах всюду появились патрули. В морозной, звездной, ночной тишине раздавались оклики... Где-то невдалеке шла какая-то перестрелка, потому что, хотя выстрелов и

не было слышно, но в сани, в которых я ехал, звонко щелкнула пуля.

Подъехал генерал Милович со своей кавалерийской дивизией и собрал совещание командиров частей у себя, не желая считаться с кое-как достигнутыми результатами и, видимо, намереваясь создать что-то новое[61].

Я присутствовал на этом совещании, посланный за ген. Миловичем — для приглашения его на наше совещание. Горела одна свечка. В переднем углу за столом заседало начальство; все кому не лень «высказывались». Сзади, где сидели мы, мелкие чины, раздавалось смутное бормотание.

Присутствовали одни офицеры, элемент, следовательно, сознательный, говоря революционным языком. А тут, в полутьме, блестели скептически прищуренные глаза, шла речь о том, что — «пора бросить эту волынку», что в Канске — «власть принадлежит земству».

Отсутствие решительности у начальствующих лиц производило явную деморализацию низшего командного состава, и если наличие большого количества наших в селе являло действие ободряющее, то долговременное пребывание на месте сводилось к кипению в неопределенности и, опять-таки, вело к деморализации масс.

Чтобы выйти из этого невыносимого положения, нужно было напряжение одной, индивидуальной воли,— а воли не было! Генерала Каппеля здесь не было, Пепеляев дрался где-то сзади или уже ехал в это время в тифу в вагоне. Не было никого, кто бы объединил вокруг себя эту массу, не было личности.

Вернулся я к себе и привез от ген. Миловича ответ, что он, как старший, просит пожаловать на совещание к себе войскового старшину Энборисова. Тот поехал, а остальные наши начальники стали его ждать.

Вопрос стоял так: пробиваться ли на восток, уходить ли на юг. И то и другое в сущности, для нас было равнозначным. И там, и тут полная неопределенность, полнейшая судьба.

Поздней ночью закончилось это совещание. Полковник Энборисов, вернувшись, привез известие, что там командирами наиболее крупных отрядов решено было предоставить всем свободу действия. Во исполнение этого, ген. Милович на другой день взял *дивизион* и ушел на Канск, где сел в поезд к чехам. Отряд вернулся обратно.

Я решительно должен сказать, что такой способ «освобождать» части, в сущности, сводился к освобождению начальствующими лицами самих себя от забот о частях для свободного устремления в чешские поезда. В результате — разваливались части, и хорошие части. Как, например, укажу на Томскую унтер-офицерскую школу, вышедшую в полном составе из Томска, отлично вооруженную и надежную,— из пермяков. Командир ее, полковник Шнапперман, объявил всем чинам, что они свободны, и сел сам в чешский эшелон.

Конечно, часть рассыпалась, в то время как такая часть, как Егерский полк, который вел молодой полковник Глуткин, не останавливавшийся ни перед какими мерами, чтобы как возможно облегчить людям путь,— дошел до Забайкалья чуть ли не в полном составе! (Около 300 человек.)

Глубокой ночью, когда мы уже ложились спать, доложили, что приехали ген. Сахаров и ген. Лебедев, и желают видеть начальника отряда.

И вот в комнату, в шубах, ввалились бывший главнокомандующий, ген. Сахаров, в своей круглой барашковой шапке, и былой всесильный ген. Лебедев в малахае. Они ехали всего на двух подводах, с полковником Кронковским, и в эти тяжелые времена не

терявшим своей штабной гордости и заносчивости, да с вестовыми.

Говорил ген. Сахаров. Лебедев сидел молча, огромный, с каменным, горбоносым лицом. И надо отдать справедливость ген. Сахарову: он был энергичный человек. Ознакомившись с обстановкой, присоединившись к отряду полковника Глуткина, он перед утром тронулся из Голопупова на с. Береш. Он легко прошел угрожаемые пункты и с тех пор все время шел в голове колонны, первым перейдя Байкал.

Настал день. По селу разнеслась весть, что приехал ген. Вержбицкий со штабом, принял командование, что будет боевой приказ; все вздохнули облегченно, хотя бурление и разложение продолжалось еще. Отряды, выступающие сепаратно, тянулись в разные стороны и так же понуро возвращались обратно[62].

В это время подошел верховой артиллерийский отряд 1-й армии полковника Беренса, если не изменяет память. Офицеры остановились в одной избе с нами. Оказалось, что с ними едут еще две пушки, остальные были брошены из-за трудности пути...

— А снаряды?

— Снаряды есть...

Мы чрезвычайно обрадовались; приказано было затопить баню, чтобы отогреть компрессоры. Два орудия! Несколько выстрелов — и все село запылает, а его защитники побегут оттуда!

Каково же было наше разочарование, когда по справкам, наведенным у командира, оказалось, что нет ни одного снаряда!

Так прошел день. На утро было назначено наступление... С лихорадочным нетерпением ждали мы его результатов. Что-то около 80 пулеметов должны были быть двинуты против села. Но полученные сведения гласили, что хотя одна часть и добежала до селения,

но тотчас же открыла огонь по своим. Передалась. Деморализация принесла свои плоды.

Начиналось явное разложение. На Канск уехало несколько подвод с офицерами, заявляющими, что там земская власть и что они могут с нею сговориться. Наконец, около трех часов дня приказано было вытягиваться, и огромная, чуть ли не 30-верстная, колонна двинулась в юго-восточном направлении на с. Береш, что на р. Кан. Вытягивание затянулось до глубокой ночи. Хрустя и скрипя полозьями по мерзлой пахоте со сдутым снегом, перед утром переехали мы реку Кан.

Высота Канска, таким образом, была пройдена.

Вместе с нею кончился и неорганизованный поход армии; обстоятельства на р. Кан показали, что необходима организация, и они же дали и толчок к таковой. Части, собравшиеся в с. Голопупове, образовали так называемую колонну ген. Вержбицкого, вошедшую во 2-ю армию. Последовавшая вскоре затем смерть ген. Каппеля, передавшего командование ген. Войцеховскому, оставила за ген. Вержбицким и командование 2-й армией. 3-ю армию, после ген. Каппеля, принял ген. Барышников, а затем, под Зимой, ген. Сахаров. Кроме этих двух главных колонн, шедших по тракту и южнее, было несколько отдельных отрядов, шедших севернее. Так, там пошли не вышедшие до сих пор отряды ген. Казагранди, ген. Перхурова (героя ярославского восстания), а также ген. Бангерского, ген. Бордзиловского[63].

Следующими этапами, внушающими известную тревогу, за Канском были Нижнеудинск, Тулун, Зима, Черемхово. Но так как армия, отбросившая все свои ненужные элементы и успевшая получить кое-какую организацию, от Канска, собственно, уже не отступала, а непрерывно наступала, то пройти их было легче.

Чем же была достигнута эта организация, как удалось выйти из первой стадии стихийного шествия на восток?

Во-первых, фундаментом служила абсолютная непримиримость с советской властью самой широкой демократической двигавшейся массы. Это был некоторого рода противоположный род электричества.

Во-вторых, вытекавшее отсюда желание дисциплины и сознательное подчинение ей, даже самым примитивным ее начаткам. Я знаю случаи, когда солдаты говорили: — Почему же нами не командуют, почему же нас не ведут? — Если бы со стороны командного состава проявлено было больше выдержки и менее желания устроиться, то несомненно, что число пришедших на восток было бы вдвое или даже — в несколько раз больше.

Наконец, первый, хотя незначительный успех — проход Канска, заметно окрылил дух шедших. Оказалось, как всегда, что не так страшен черт, как его малюют, не так страшен противник вблизи, как издали, «выворачивающий шубу» и пугающий не знающих, что это такое.

Но все-таки и на этом фоне здорового массового жизненного инстинкта, глубочайшего возмущения против большевиков, тем яснее выделилось отсутствие инициативы, горячности, известное рутинерство со стороны высшего командования.

Омск мертвый дышал и здесь, путаясь, мешая Омску живому, нелепо занимая лучшие квартиры, сводя личные счеты и досадно внося раздражение в готовую служить беззаветно, до конца, массу.

IX

НАСТУПЛЕНИЕ. БОЙ ПОД ЗИМОЙ. КРАСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. К ИРКУТСКУ

Меридиан Канска—река Кан к югу от города был, наконец, пройден при вышеописанных обстоятельствах; мы стали подходить к Нижнеудинску, этому маленькому жалкому свидетелю ужасной драмы, разыгравшейся вокруг Верховного. За несколько недель стояния там огромный эшелон Верховного буквально вмерз в лед, в грязь, в снег и так и остался стоять, разграбленный. Верховный, как известно, со 100 приближенными, был вывезен чехами в одном вагоне, прицепленном к хвосту, обычно по-хозяйски устроенного чешского эшелона, с изуродованными теплушками, окнами, вставленными из классных вагонов, и т. д.

Его вывезли, конечно, ввиду нашего скорого приближения, как и расстреляли в Иркутске по тем же самым мотивам.

Между тем у двигающейся армии появилось то уверенное настроение, которое превратило, в сущности, *отступление* до Красноярска в *наступление* с Красноярска. Красные не наседали, да остающиеся чехи со своими эшелонами в тылу создавали выгодную для нас обстановку, отрезая нас от непосредственного соприкосновения с красными.

Перед нами была область всяких восстаний, организаций или, более того, слухов об этом. В волостных земствах всюду находили мы «бумажки» относительно формирования народно-революционной армии, для «уничтожения остатков армии врага народа, адмирала Колчака». Повсюду летели декреты об урегулировании при посредстве кооперативов, торговли, об уничтожении частной торговли. Учительницы в

школах показывали нам бумажки, извещающие, что с такого-то числа «вся власть» над школами перешла в ведение учебного отдела такого-то совдепа, а посему необходимо прекратить тотчас же преподавание Закона Божьего.

Как по какому-то великому, изначальному шаблону были отлиты формы всех этих бумажек, и приходилось удивляться, как, в сущности, четки их требования при элементарной простоте своей!

Тем более разительны они были, что все эти места Енисейской и Иркутской губерний, которыми мы шли, являли из себя вид чрезвычайно культурный. Переселенческое управление сделало чрезвычайно много, как в смысле доступности тайги, так и в смысле оборудования школ, церквей и проч. Школьные и общественные здания были в некоторых пунктах прямо образцовыми. И все это стиралось, уничтожалось, аннулировалось этими бумажками.

Всего мучительнее процесс этот проходил для сельской интеллигенции. Я помню две или три кошмарные беседы с такими учительницами, затерянными в своих хоромах в лунных, таежных снегах. Одна из них, оказывается, не ела уже двое суток и только теперь собиралась испечь небольшой хлебец. У нее не было денег. Денег новая власть еще не присылала, присланные же директивы вызвали естественный конфликт с родителями, которые отказались поддержать «учителку». И вот бедная, одинокая девушка продает все свои вещички, чтобы только жить, чтобы кормиться. Вещи и крестьяне ценили очень.

В другой раз слышал я рассказ о том, как «я», маленькое белокурое существо, жила и учительствовала где-то в низовьях Лены, куда чуть не 2000 верст надо было плыть на берестяных лодках; теперь она и тут, невдалеке от своего родного Тулуна, терпела ту же нелепую, беспроглядную нужду.

И кому это нужно, что учительское дело превратилось в подвиг? Страдания, правда, много. А толку?

В эти первые дни по прохождении Канска в армии начала чувствоваться уверенность. И когда, недалеко перед Нижнеудинском, одну из колонн в притрактовом селе Ук встретил спрятанный в засаде отряд, от него ушло немного. Около 200 трупов осталось в этом разоренном, разбитом, опустелом селе.

Перед нами не было уже отступающего фронта, уходящей армии и т. д., с их временными кровавыми инцидентами. Перед нами воочию вставала Гражданская война, не война двух фронтов, хотя и русских,— а война бродяжническая, сутолочная, война всех против всех.

Проехав село Ук, мы остановились на какой-то следующей деревне, зажарили барана, попарились в бане, до озверения напились чаю. Спокойно и уверенно было на душе сначала. Только что разгромленный Ук доказывал эту нашу силу. С другой стороны, на пути следующим этапом лежал Нижнеудинск, неизвестно еще что готовивший нам. И как только стало смеркаться, как по улицам стали мелькать костерки наскоро обогревающихся, быстро проходящих частей, в сердце опять стала закрадываться она, знакомая тревога.

Час выступления назначен был в 7 часов утра. Но начальство, учитывая общее настроение, стало его подымать на 5 часов, наконец, на 3 часа ночи.

Так, наконец, и выступили мы последними в 3 часа ночи. В селе уже никого, кроме нас, не было. В сумерках зимней ночи, под матовым блеском сквозь льдистые стекла лучины в избах (тут уже всюду горела лучина) стали вытягиваться. Вытянулись, но разорвались. Часть отряда пошла по правой, другая по левой дороге. Послали верховых для связи. И пока стояли так, в черно-белесом сумраке январской ночи, вдруг сзади загрохотали выстрелы. Кто, по кому стрелял —

неизвестно. Тронулись. И вот, сквозь стукотню выстрелов, сквозь особое, настороженное предутреннее молчание сотни людей, сквозь шпицы черных, опушенных снегом елей, над снегами мягко встало, разлилось малиновым веером полыхающее алое зарево.

Гражданская война породила красный снег.

В глубоком молчании под светом красного зарева отряд наш сделал путь до Нижнеудинска. Уже светало, как стали мы подъезжать к нему. Везде на улицах уже сновали солдаты с лошадьми на водопой, ровно и неподвижно лиловея, лежала р. Уда.

В Нижнеудинске стали получать запасы нашего же интендантства, брошенного красными. Задымились сигаретки, к чаю появилось монпансье, белые булки, сахар. Этикетками от сигареток «Золотой шлем» усыпаны были снежные дороги.

Я прошел на станцию Нижнеудинск, чтобы навести кое-какие справки у чехов. Начальник штаба 3-й чешской дивизии оказался спящим в своем вагоне, несмотря на 11 часов дня. Спали и его адъютанты. Вся станция была забита чешскими, румынскими солдатами, весьма оживленно сбывавшими *нашим наш* табак, теплое белье и т. д. Торг шел вовсю. Красные главари Нижнеудинска находились тут же и или прогуливались с чехами, косясь на каппелевцев, либо торчали у окон вагона, своего места.

Тут же пришлось встретиться и познакомиться с одним сербским офицером, которому посчастливилось уйти из-под Клюквенной. Дело в том, что сербские эшелоны стояли вперемежку с польскими, и поэтому, при сдаче поляков, не предупредивших сербов, попались и сербы. Этот серб-офицер плакал, рассказывая о польском предательстве.

Через несколько дней после того, как мы ушли из Нижнеудинска, на Нижнеудинск красными было сделано нападение. Дело в том, что, по установленному с чехами соглашению, красные должны были

занимать оставляемые чехами станции на расстоянии не менее установленного для оборотного паровозного депо, т. е. за 80 верст. Пока у них с чехами не было никаких серьезных столкновений, красными все время систематически производились нарушения этого договора. У Нижнеудинска же была сделана ими попытка отрезать хвост чешских эшелонов, для чего ими был взорван небольшой мост восточнее указанной станции. Захваченным врасплох чехам пришлось убегать чуть ли не в белье и бросить несколько своих эшелонов. Но, в ответ на это, чехи взорвали самым пунктуальным образом все мосты, стрелки, водокачки и т. п. на расстоянии 80 верст от Нижнеудинска, делая этим вполне невозможным приблизиться к ним ближе, чем на уговоренную дистанцию. После этих попыток договор со стороны красных уже не нарушался.

Грустную картину являли станции. Чехи не позволяли нам показываться на них вооруженными. Чешский флаг трепетал на флагштоке, везде сидели телеграфисты и коменданты — чехи, и было непонятно, почему по ж. д. движутся с таким комфортом эти сытые, здоровые, чужие люди, а мы, хозяева, должны ухабиться где-то в снегах, изредка вылезая на станцию, чтобы посмотреть, послушать, купить уже втридорога свои же казенные товары, захваченные более удачливыми союзниками.

В Нижнеудинске у нас был поставлен на очередь вопрос о Монголии, который все время висел неотвязно в воздухе. Дело в том, что, по полученным нами сведениям, наиболее удобные дороги на юг были с Нижнеудинска и со станции Зима, по рекам Уде и Зиме. Более того, под Нижнеудинском мы встретили лицо, которое предложило нам, всему отряду двинуться к нему на заимку, верстах в 350 от Нижнеудинска, где и ждать весны. С наступлением же весны пути были открыты куда угодно.

С другой стороны, обстановка складывалась так, что идущая армия вполне могла рассчитывать на свою силу. И когда поэтому мы отложили наш сворот в Монголию, бой у ст. Зима так воодушевил всех, что армия, не рассуждая, бросилась дальше, к Иркутску.

На ст. Зима от Черемхова было выдвинуто около 2000—2500 бойцов, главным образом рабочих с копей, чтобы положить конец продвижению главной колонны. Несчастные эти выступили под командой шт.-кап. Нестерова. Бой для них был неудачен, да к тому же резервы, подходившие к месту боя, были арестованы чехами, придравшимися к каким-то нарушениям. В результате все красные дравшиеся части были захвачены нами в плен и перебиты. Интернированный чехами тов. Нестеров по телеграфу доносил в Иркутск о том, что «проходившие каппелевцы натворили ужасов». На льду р. Зима были наложены целые штабеля трупов несчастных, погибших от собственного неразумия и ослепленности пославших.

Это обстоятельство, однако, сильно помогло нашим двигающимся частям. Следующего грозного этапа — Черемхова — с его депо, с заводским населением уже не оказалось. Вся эта масса кинулась на юг, в тайгу. Наш отряд, двигавшийся на самом правом фланге и пробиравшийся на село Голыметь, столкнулся с одним из таких, весьма значительных отрядов, человек до 800, уходившим в тайгу. Однако мы были случайно предуведомлены, расположились в деревне, в полутора верстах. Накануне, к вечеру, мы пробовали случайно захваченные пулеметы, так что слух об нас гнался далеко впереди, с вечера — постреляли и здесь, а затем, ночью, подвинувшись на два этапа вправо и вперед, обошли эту банду, которая сочла себя окружаемой и угнала в тайгу.

Двигаться в этой обстановке, ближе к Иркутску, становилось все труднее и труднее. Нам по всем дорогам предшествовали в одном, в двух переходах

специальные совдепские люди, которые предуведомляли население о нашем движении в соответствующих тонах. Мы приезжали в пустые, мертвые деревни, из которых было угнано и население, и скот. По нетопленным избам, и то не везде, оставались лишь дряхлые старики. А между тем надо помнить, что стояли страшные морозы, и люди, и дети, бездумно вывезенные в леса, обмораживались и гибли.

Кроме известных психологических неудобств, такой метод действия был прямо губителен для нас. Нам нужны были лошади в обмен на выбившихся из сил.

Дурно это было или хорошо, все равно, *так надо было*. Не иметь лошади — значит отдаться красным и т. д. Поэтому, в связи с выселением крестьян в леса, ночью приходилось делать облавы на лошадей.

Темной, звездной ночью, по следам от множества копыт, отправлялись мы на заимку верст за 10; среди деревьев издали уже были видны, в дыму от костров, фигуры сидящих у огней мужиков, иногда целые семьи окружали пляшущий живительный цветок огня.

Тут же, привязанные к деревьям, маячили фигуры коней. Один-два выстрела вверх, невообразимая суматоха и бегство, и через 10 минут мы возвращались, ведя с собой в поводу 5–6 лошадей, сколько нужно.

Во время одной из таких экспедиций встретили мы в лесу верхового.

— Стой. Куда?

— Да за своими, в лес. Сказывали, идут войска генерала Каплина (sic!), да всех будут грабить и убивать. А ребята приехали ничего, подходящие. Ну, вот и поехал, чего мерзнуть-то...

И вскоре деревня наполнилась своими обитателями.

— Ты куда же, дура, бегала,— спросил я свою хозяйку, статную красивую бабу, ловко управлявшуюся у печки... — Чего испугалась?

— А хто вас знат, хто вы такие... То красные, то белые... Надоели очень, вот и бегали.

И сколько забавных инцидентов было во время этого скорбного пути. Так, запоздав несколько в маршруте, мы видели однажды, как спокойно расположившийся волостной совдеп лез через забор in corpora, захваченный врасплох нашим проездом. В другой раз, командир шедшего с нами другого отряда, полковник Герасимов, оказавшись в одном селении с красными, получил обильную жертву от ждавших от красных мира восторженных поселян. Тут были туши мяса, и мука, и масло...

На меридиане Зимы надо было нам окончательно решить вопрос — ехать или не ехать в Монголию. Шедший с нами Егерский отряд 2-й армии, под командой капитана Стаховича, двинулся решительно на Иркутск. Полковник Герасимов все время колебался. Для нашего командования было ясно, что обстановка складывалась так, что нужды в свороте, в удлинении и усложнении пути решительно не было. Полковник Герасимов настаивал на этом движении, и лишь странный случай разлучил нас с ними.

Ночуя в одном из сел, полковник Герасимов встретил в избе тоже ночующего представителя иркутской власти, ехавшего за покупкой фуража и мяса. Долго беседовали они на разные темы, главным образом о прекращении войны. Когда слух об этом дошел до нашего отряда, то было решение у этого субъекта забрать деньги, дабы иметь возможность оплачивать крестьянам фураж и продовольствие. Полковник Герасимов нам его выдать отказался и заявил, что оставляет за собою свободу действия. После такого объяснения мы продвинулись вперед в один переход за 70 верст для присоединения к армии, а полковник Герасимов ушел в Монголию, с маленьким, чуть не в 30 человек отрядом, среди которого было несколько дам. По дошедшим потом сведениям, он был убит

какой-то шайкой,— едва ли не весь отряд был повешен.

Мы двинулись на Иркутск.

X

ИРКУТСК, ПО СЛУХАМ, ЗАНЯТ. СТ. ИННОКЕНТЬЕВСКАЯ. КРУГОМ ИРКУТСКА

После катастрофы на ст. Зима, Иркутск для нас сделался таким же определенно-желанным пунктом, каким он был для нас под Красноярском. Армия не сомневалась, что возьмет его, и думала о близком отдыхе там, двигаясь среди снежных дорог, с увала на увал, покрытый лесом, под холодным, морозным небом, где кружились орлы, по дорогам, устланным трупами лошадей и выкидышей-жеребят.

В 60 верстах от Иркутска, в веселом селе Китой расположились мы на отдых. 60 верст! Нужно поскорее подтянуться к городу, чтобы войти в то кольцо, которое его будет брать...

В этот же вечер поехал я на ж. д. станцию в 5 верстах от села за информацией к чехам. Боже мой, какая перемена! Нас пригласили в вагон, насовали полные пазухи сигаретами. О чем говорить, господа? Иркутск взят сегодня утром, Верховный освобожден...

Об аресте Верховного нам было известно раньше. Красные применили удивительно остроумный метод информации. Они все время держали в движении товаро-пассажирский № 22, и с ним навстречу нам, армии, ехало множество пермяков, самарцев, уральцев и т. д., «отпущенных» домой за скончанием войны и снабженных всеми надлежащими документами. У этих же людей были и газеты.

Знали мы и об ультиматуме, предъявленном ген. Войцеховским красному командованию Иркутска, об тех его условиях, на которых он согласился пощадить город. Условия эти были: вывод всех войск за черту города, выдача Верховного, выдача золотого запаса, пропуск на восток эшелонов с больными и ранеными, а также с семействами военнослужащих.

От крестьян имели мы сведения, что Иркутск эвакуируется, как в отношении товаров, так и в отношении войск, что подводы крестьянские, приехавшие в город за покупками, перебрасываются с грузом в Верхоленск и т. д. Таким образом, заявление чехов, что в Иркутске никого нет и что он теперь уже взят, окрылило наши сердца. Обидно было только, что приехали к шапочному разбору.

Более того. Чехи говорили, что их эшелоны к Иркутску будут подтягиваться недели три еще, и поэтому армия сможет, на крайний случай, расположиться на отдых в Иркутске недели на две.

Окрыленные полученными сведениями, нагруженные папиросами, газетами и прочими диковинками, бросились мы к месту стоянки нашей. Спокойно улеглись спать, решив, что завтра будем в Иркутске.

Наутро обычное пробуждение. В синем зимнем рассвете февральского утра по деревенской улице начинается движение. Снимается дежурная часть, чутко дремлющая на полу где-нибудь в центральной избе, держа винтовки в объятиях, установив нашего «Максима» против двери. Варится всюду неприхотливое варево, и семьи (а ехали большинство семьями) истово садятся за дымящиеся чашки, из которых торчат кости. Поевши, подымаются, и идет укладка вещей на возы. Приспосабливаются кое-как и ребятишки. С нами долго ехали четверо ребят в пустом, кованом сундуке... Как птицы, выглядывали они оттуда, и только вьющийся парок означал их дыхание.

Следующим номером шла погрузка больных — тифозных всяких видов. Их выводили, бледных и дрожащих, и укладывали в большие, глубокие корзины, в сено или солому, укрывая чем только можно. Так они и тянулись, за отрядами, оглашая сонные лесные дороги криками и жутким бредом...

— Тащи, тащи,— слышал я такой крик под вечер в темной тайге, когда низким красным пятном горело между стволами солнце,— тащи, клюет ведь...

Люди заболевали, слегали, ехали в кошевках, затем показывались опять, побледневшие, исхудавшие... Врачи констатировали какую-то особую легкость, с которой переносился тиф при разнице температуры тела и воздуха чуть ли не в 100°. Были, конечно, и смертные случаи. Так, раз умер утром один из двух офицеров, ехавших вместе в санях. Другой, живой, продолжал целый день ехать с мертвецом. Приехали на ночевку, живого вынули из саней, отнесли в избу, а мертвого оставили в санях. На другой день выступили рано, торопились, хоронить было негде, и целый день ехал несчастный больной бок о бок с мерзлым трупом своего мертвого товарища.

Выехали на тракт, что идет по берегу Ангары к Иркутску. Верстах в 16 от города — наша застава. Оказывается, красные установили за рекой два орудия и обстреливают движущиеся открыто обозы. Пришлось свернуть с тракта и ехать вдоль полотна ж. д., верстах в двух правее. Командир нашего отряда решил обойти Иркутск с юга и свернул на село Благовещенское. Я поехал прямо на Иркутск, намереваясь, если бы он оказался занят, войти в связь с оставшимися там работниками Р. Б. П. Медленно, спокойно ползли обозы, зажатые в узком снежном ложе дороги вдоль ж. д., прикрытые невысокою насыпью. В одном месте полотно шло открыто, и красные направили свой огонь на видимую здесь цель. Над небольшим мостиком то и дело вспыхивали с треском

белые облачка шрапнельных разрывов, чересчур, однако, высоких, чтобы быть вредными. Тем не менее был ранен какой-то подводчик-бурят. В чужом пиру похмелье...

Невдалеке была какая-то небольшая станция, на которой стоял чешский эшелон. Чехи, сгрудившись на крыше последнего вагона, в бинокли с интересом следили за происходящим, приветствуя криками каждый более удачный выстрел.

Вот и Иннокентьевское, вот военный городок, вот столбик над смыком рельс — Томская ж.-д. — Забайкальская ж.-д.

В огромном посаде Иннокентьевском было предвечерне-темно. Странно было смотреть на тонкие чулки и шубки горожанок после четырех месяцев походной жизни. Конский навоз придавал улицам особый, стоялый вид. И сколько я ни спрашивал у наших солдат и офицеров — можно ли проехать в Иркутск, чей Иркутск,— никто ничего толком не знал.

Только один чешский солдат, встреченный мной на улице, обрисовал положение весьма отчетливо. Армия проходит Иркутск правее, сегодня уже последний день ее прохода. Боя за Иркутск, по каким-то соображениям командования нашего, не было.

Вот и все радужные сведения пошли прахом. Надо было ехать дальше из этого угрюмого, пустеющего села. Отпустил подводчика, погрузил овес к себе на сани, муку отдал хозяйке того дома, где пил чай.

О, это чаепитие! Накануне приезда моего в Иннокентьевской сгорело здание женской гимназии, и нашими солдатами был растащен кооператив. В той смутной вечерней квартиренке, где я пил чай, как раз ютились семьи низших служащих из гимназии и участники кооператива. Злоба, досада, негодование на нас, жалобы на свою судьбу — все это смешалось вместе, давая пряный букет...

Умилостивив этих добрых русских людей мукой, которая слишком тяжела была для нашей пары, тронулись мы на деревню Марково.

Природа не так грозна в соответствующей ей ее обстановке. Здесь же черная мутно-белесая ночь развертывалась вблизи огромного притаившегося города и освещенной калильными огнями станции, которую, вместе с золотом, крайне ревностно охраняли чехи, придерживая здесь свои эшелоны. Черной жуткой массой слева нависал мост через р. Иркут, справа белела она сама. Хотя мы ехали уже не в плотной массе колонны, но среди отдельных саней, но за дорогу не приходилось очень тревожиться. Она стлалась, как укатанная, мягкая, снежная канава. Проехав линии береговых огней каких-то селений, поднялись мы вправо и стали подыматься по увалам, поросшим лесом. А со всех сторон такого пути тоже ровная, снежная, серая ночь, крики из саней, иногда бред и скрип, бесконечный скрип полозьев.

После полуночи показалось, наконец, и Марково, набитое до отказу лошадьми и людьми. В какой-то халупе, откуда выезжали отдыхавшие там, устроился на отдых. Пожевали мы с Магидулиным хлеба, попили чайку, и сон, тяжелый, крепкий и чуткий, схватил нас на полу, с винтовкой в руках, под неуемный плач ребенка на печи, под бормотанье старухи-хозяйки, искавшей под нами шапку своего внука.

Когда побелели звезды — вышел. Кони съели весь засыпанный овес и вздрагивали в дремоте. Разбудил Магидулина, приказал запрягать.

Сразу за Марковым дорога уходит под гору, чтобы далее подняться на огромную, лбистую, лесистую гору. И на полугоре пришлось нам остановиться

И тут, после тысячеверстных переходов, в двух верстах от красных, все одно и то же, одно и то же. Есть от чего в отчаяние прийти, от этой мистической русской неумелости организоваться! Широким вее-

ром, обращенным кверху, раскидывались по лбищу на розовом рассветном снегу тучи саней. Ясно было, что вверху где-то затор. Долго я дожидался движения подвод, но бесполезно. Пришлось идти «проявлять инициативу».

Пройдя с версту в гору, вижу, как вытянувшиеся по двум дорогам в ленту сани скопились в комок в том месте, где две дороги переходили в одну. Каждый из близстоящих возниц, а особенно каждая вожделела первой броситься на этот широкий открытый путь. И с каждой головной парой буквально происходило следующее: слетая в узкий снежный желоб одной тропы, упряжки сплетались в одно, и начиналась зверская, неистовая русская ругань.

Самовольно, насильно вмешавшись, удерживая одну запряжку, один отряд, пропуская другой, все время неистово ругаясь, невзирая на чины и звания, я в полчаса достиг того, что подъехали мои сани.

Я не знаю, кто был тот полковник, который, сидя с женою в своей кошевке, изредка испускал это позорное слово «понужай», а в конце концов привязался ко мне с требованием указать, на каком основании я распоряжаюсь. Произошло крупное, пересыпанное солью, объяснение, но, на счастье, подошла его очередь, и он проехал мимо[64].

В получасе езды — буквально та же история! Дороги рассыпались на две, для скорости — поехали по двум. Потом опять они слились в одну, с той, однако, значительной разницей, что в месте их стрелки образовалась снежная, полусаженная яма. И опять мчавшиеся взапуски сани низвергались в эту яму, с угрозой искалечить ноги лошадям, путая, тратя время даже на распряжку, чтобы проехать вперед, заставляя, таким образом, весь остальной хвост дожидаться.

Это было невозможно, но почти ничего невозможно было сделать. Возницы со злыми, упрямыми лица-

ми неслись к этой яме, и дважды случилось так, что одни сани упали на другие, в которых лежало двое больных. Ужасные крики послышались оттуда. На мое требование оттащить сани в сторону, чтобы, не мешая другим, производить чинку упряжи, возница-офицер вытащил револьвер...

И ведь каждый из этих добрейших людей думал, что то, что он делал, было единственно правильно... Никакой, ни малейшей инициативы...

Стало лучше, когда выехали на тракт. Солнце уже взошло, и аметистами спокойно сияли окружающие Иркутск сопки. Синью были налиты чаши долин, и на розово-хрустальном снегу, такой чистенький, такой близкий, под сияющим золотом колоколен, на берегу лазоревой Ангары, лежал утренний Иркутск...

Словно и не было Гражданской войны, словно не было невозможности прямо скатиться туда с лесистых склонов, явиться в уют и налаженную жизнь города...

Нет, нельзя, и вот свидетели этого. Среди зеленых сосен, на девственном снегу, в только что захваченной в Иннокентьевском желтой теплой одежде раскидано было 8 убитых — зарубленных. Один еще дышал, и на его раскрытом горле, как безжалостные розы, вскипали огромные пузыри ало-красной крови, чтобы сейчас же лопнуть и мелкими рубинами осыпать сияющий снег. Синие руки сжимались и разжимались.

Это были солдаты нашего Тобольского полка, уличенные в сношениях с неприятелем.

И мимо них лежала наша дорога...

XI

ЧЕРЕЗ БАЙКАЛ В ЧИТУ

После целого мучительного ряда подъемов и спусков, сделавши какой-то необыкновенный сложный последний спуск, около 3 часов дня выехали мы на ст. Михалево. Маленькая станция, зажатая между Ангарой и крутыми берегами, она честно вместила в себе то, что могла вместить. И станция, и селение рядом были буквально заставлены конями и санями. Некоторые части, приютившиеся на улице, тут же варили свое незамысловатое хлебово. На площади, перед домом какого-то официального сельского лица, делили захваченные у красных в Иннокентьевке отличные английские попоны и одеяла. И над всей этой обыденно-повышенной жизнью висел глубокий зимний белый снег. Ангара, эта быстрая, неуемная река, на наше счастье, уже встала, и вдали от берега, среди бело-синей равнины льда, чернели барка и пароход.

Я не нагнал своего отряда, с которым расстался перед Иннокентьевской, и, как одиночке, найти себе приют было мне чрезвычайно трудно. Поэтому мы с Хамидулиным поехали по линии ж.-д. вверх по р. Ангаре, чтобы найти себе пристанище в верстовой будке железнодорожного сторожа.

Это нам и удалось, в версте от станции. Там, в той будке, было уже несколько офицеров, следующих своей компанией, один из них сыпнотифозный, затем еще два-три одиночных с женами. Одна жена чрезвычайно сильно протестовала против новых лиц, потому что собиралась... стряпать пельмени.

Подсчитали с Хамидулиным, сколько сделали мы за день. Оказалось, около 90 верст. Коням нужно было дать отдохнуть, почему мы решили выступить утром.

К вечеру выехали все наши соседи. Мы остались одни. Ночью, около двух часов, проснулся я и, по-

винуясь какому-то темному, совершенно необъяснимому, звериному голосу в душе, приказал запрягать.

Где и когда русским людям, особенно русским интеллигентам, до настоящего времени привелось видеть то, что пришлось увидеть нам с Хамидулиным в ту фантастическую ночь!

Выехали мы около 3 часов утра, под бурым, низким светом ущербного месяца. Опять, как фарфор, сияла поверхность Ангары. Впереди темнело Михалево.

Михалево было уже совершенно пусто. Только навоз да кострища свидетельствовали, что тут недавно были люди. Кой-где мерцали по избам лучины; лаяли собаки.

Поворотили через Ангару. Невдалеке — опять рассыпанные в беспорядке трупы убитых; то были тоже зарубленные, и кровь казалась черной на буром месячном снегу.

Едем дальше. Навстречу, в западном направлении, скачут трое всадников... Курки у нас взведены, и мы видим, как и те держат винтовки наизготовку. Кто это был,— наши ли, нет ли, — так мы и не узнали...

Долог был путь по льду у правого берега быстрой Ангары. Полыньи булькали своими черными спинами. В нескольких местах — эти известные печальные монументы нашего пути — головы лошадей, торчащие из-под льда.

Долго ехали мы под какой-то, все приближающийся шум. И после того, как мы проехали с версту по берегу, свернувши со льда в том пункте, где было нужно,— мы поняли причину шума. На Ангаре шла наледь — вода из Байкала, четверти на две, вся окутанная туманом, шла, покрывая собою и дороги, и полыньи.

Задержись мы на полчаса в Михалеве, едва ли бы удалось нам выбраться!

Быстро мчались мы к Байкалу. Теснина р. Ангары вся была полна туманом от прорвавшейся с Байкала воды. Светало. Бронзовые туманы, окутывавшие противоположные горы Ангары, стали свиваться в умопомрачительные, зеленые лесистые выси, и вдруг нестерпимо засияли розовым светом серые шелка этих туманов.

Взошло солнце. Показался Байкал.

С чем сравнить эту бесконечную, белую, льдистую поверхность Байкала, всю обставленную нежнейшими жемчужными переливами Кругобайкальских гор. Невдалеке казались они — вот-вот, а между тем до них было до 60 верст. Все это ожерелье, под бледно-зеленым морозным небом, сияло красными, голубыми, зелеными-аквамариновыми тонами, огнями такой изумительной тонкости, нежности и прозрачности, что на сияние каких-то сказочных, небывалых, сплошь жемчужных дворцов походило оно.

А ведь, кроме всяких этих красот,— это был Байкал, желанная грань, отделяющая царство красных от царства белых. Ведь по мере того, как уходили мы на восток, все резче и резче выделялась фигура атамана Семенова.

Людям, не знающим, где приклонят они вечером голову, людям обреченным, людям, уходящим от чего-то кошмарного и гнусного,— было все равно, где найдут они избавление, где стоит тот жертвенник, за рога которого они схватятся. А кроме того, разве первые пункты, первые ожидаемые этапы не обманывали? Разве надежды на Новониколаевск, Томск, Красноярск, Иркутск наконец, не пали воочию под руками глупцов, предателей и убийц?

Армия шла к атаману Семенову, как к тому последнему оплоту, последнему, который оставался еще на Дальнем Востоке. Долетали уже быстрые вести о переворотах во Владивостоке, но еще верилось в союзническую помощь японцев и в безжалостную силу

атамана, и массам определенно импонировало это имя.

И от всего этого нас отделял лишь Байкал, сияющий жемчугом в это ясное, февральское утро...

Село Никольское, по правому берегу р. Ангары, и, наконец, с. Лиственничное, у устья р. Ангары. Там остановились, встретились со своим отрядом, налетевшим на красных в с. Благовещенске, и шумный самовар объединил почти весь «командный состав» за беседой. Так прошел день.

На другой день, для ориентировки, мы с А. Н. Полозовым и с седым воякой, добрейшим Вейнбергом, двинулись на ст. Байкал, к чешскому коменданту. Объехали огромную полынью, у истока Ангары проехали мимо замерзшего ледокола «Ангара», мимо полуразрушенной эстакады, куда, бывало, приставал славный «Байкал», и вылезли прямо на берег у маленькой, прижатой к скалам, станции Байкал.

Боже мой, сколько афиш было расклеено на этой станции, и какими только словами не называли нас на них! И убийцы, и грабители, и темные силы! «Есть от чего в отчаяние прийти». Все силы, вся энергия трудового народа призывалась на борьбу с нами, все призывались на истребление «остатков каппелевских банд». Чех-комендант еще спал, и мы имели довольно времени, чтобы вычитать все эти перлы революционного красноречия.

Прохаживаясь по платформе, увидел я троих людей, по виду мастеровых. Прямо волками смотрели они на нас, на наши вооруженные фигуры, и было страшно за то количество ненависти, которое горело в их глазах...

Я подошел к ним. При моем приближении один из них совершенно определенным жестом засунул руку в карман полушубка.

— Ну, что ж, братцы, долго ли еще будем воевать?— возможно весело спросил я их.

Те насупились и стояли молча. На повторенный вопрос один сказал:

— Ну, кончайте вот сами, а мы за вами.

— А что у вас здесь на станции порасписано?— И такие-то мы, и сякие-то... С такими-то людьми ведь мира заключать не приходится...

— Вот и деремся...

— Доколе ж драться?

— Пока сполна всех не перебьем...

— Может, договориться как-нибудь можно?

— Да вы вот не договариваетесь, да уходите...

— А почему уходим?

— А Бог вас знает... Умны, должно быть...

Меня взорвало...

— Ну, умны, не умны, а вас не глупее. Не хотим с большевиками жить — жили довольно.

— Да и мы с ними жили — ничего.

— Так что ж ты думаешь, неужто вся эта сила, что мимо вас который день идет,— все это зря взбаламучено? А, может быть, и мы кое-что понимаем? И вот, паря, попомни: придут большевики, попробуешь — тогда и нас поймешь... Понял?

— Понял.

— Прости.

Мы, пожав друг другу руки, расстались. Чешский комендант ст. Байкал оказался весьма любезным человеком. Узнал нам по диспетчеру, что со станции Слюдянка по неизвестному направлению вышел отряд красных в 1000 человек, что ст. Мысовая занята японцами, окапывающимися на ней.

Со стороны Никольского послышались выстрелы; то к нему подходили уже красные части. Быстро переехали мы к себе и выступили вдоль западного берега Байкала до села Голоустовского.

В это время заставы Добровольческой дивизии вели уже бой с красными, прикрывая отход.

Поехали. В серо-жемчужной, снежной мгле Байкала слева вставали отвесные, серые, мрачные Кругобайкальские горы, вплотную подходящие к самой воде. Противоположного берега сегодня не было видно. Ветер дул нам в лицо, и по озеру летела танцующая, легкая, белая поземка, не только обнажающая лед, но и сдувающая его. Открытый лед сиял, как зеркало. Где дорога была заснежена, сани ходко подавались вперед. Где был открыт лед — было мучение для наших, по большей части, некованых лошадей.

Некованым был и у меня коренник, а у пристяжки шипы сбились. Неловкий, неосторожный шаг, накат пристяжной, бегущей по снегу, саней — и огромный конь падал и беспомощно оставался лежать. Приходилось его подталкивать к снежному острову, чтобы ему было где прихватиться ногами, и подымать.

За 45-верстный рейд до Голоустова пришлось подымать лошадей раз пять. И сколько их осталось лежать в спокойной позе на льду, подогнув к зеркальному льду голову, словно смотрясь на свое отражение, засыпая в последнем смертном сне.

С приближением к Голоустову вьюга стала разыгрываться все больше; страшно было видеть, как чью-то брошенную кошевку, с поднятыми оглоблями, ветер унес по льду в серебряную мятущуюся пыль вьюги... Какой-то поезд мертвецов...

С. Голоустовское оказалось маленьким селом, приютившимся на пятачке, образованном отошедшими от берега горами. Переполнено оно было гомерически. В избах не было места, с Байкала возвращались из-за вьюги, и мы поэтому разбили бивуак на кладбище вокруг крохотной церковки.

Стемнело, загорелись костры. Долго мне будет памятна эта ночь среди угрюмой природы, под завывание отчаянного ветра.

С Байкала все время доносилось громкое, придушенное, тяжкое уханье,— то садился, ломался его толстый лед.

Все село было погружено во тьму, ибо те отряды, которым удалось забраться в избы, улицы позанимали своими подводами, а костров не раскладывали. Бивачными огнями сияло только кладбище да околицы. Опыт прошедшего дня не минул даром: везде разысканы были кузницы, летели искры у горнов, гремели удары молота: то ковались подковы и подковывались лошади для завтрашнего перехода через Байкал.

Спотыкаясь через темные сани, под вой ветра, полночи проходил я, добиваясь ковки. Наконец, с некоторым скандалом, но это было улажено. Вернувшись к месту стоянки, попал к ужину: наши убили молодого жеребенка, сварили его в котле вместе с овсом, и эту похлебку ели мы в часовне кладбища, озаренной несколькими свечами. Вооруженные люди в шапках сидели, лежали на полу,— вообще расположились кто как мог, курили, и темны и строги были сквозь табачный дым лики икон.

Наутро с рассветом стали выступать по расписанию начальства. Огромным треугольником с вершиною на тоненькую дорогу вытянулось сразу огромное количество саней — до нескольких тысяч... Лед под ними ухнул, и вся эта орава понеслась в разные стороны. Несчастья, однако, не случилось, лед выдержал.

Видя, что переправа задерживается, наш командир отряда стал искать новых путей и решил идти не на Мысовую, а на Посольскую, следующую станцию на берегу Байкала Кругобайкальской жел. дор. Расстояние было то же, изменено было лишь направление радиуса, да пришлось бы самим торить дорогу.

Взяли проводника, поехали. Путь оказался труден — нужно было пробираться через торосы, объезжать их; лошади плохо бежали по чистому льду. Отъехав верст 10—12, мы увидали, что Мысовская

дорога совершенно пуста: вышедшие на нее уходили очень быстро, а вытянуться на нее из-за затора было чрезвычайно трудно. Мы свернули туда, и около 5 часов вечера во мгле замаячили горы восточного берега.

Это был убийственный переход. Дул отчаянный ветер, но, на наше счастье, не было мороза, и снег лип на дорогу. Бесконечными рядами проносились пред нами лежащие, околевающие или уже околевшие кони... Около 300 штук насчитал я их и бросил считать верст за 15 до берега, где они лежали особенно густо. Видны были несколько голов, зажатых в трещину, вроде как бы шахматные фигуры. Но пуще всего уныние наводили бесчисленные брошенные сани и всюду постепенно бросаемые ящики со снарядами. Полураскрытые, блестящие, аккуратные, так не вязались они с этим хаосом и разрушением.

Пришлось подобрать себе в сани со снега одного сыпнотифозного,— бедняга свалился со своих саней,— замерзал, говорить не мог уже и только чуть двигал рукой к летящей мимо него веренице саней. Но суров закон великих бедствий: упал — пропал. Кое-где лежали и людские трупы.

Подъехали под какой-то железнодорожный мост — Мысовая.

На станции — плакаты, приказы атамана Семенова, в которых он приветствует нас как героев и офицеров производит в следующий чин... Сведения об нас он получил от пробравшихся вперед под видом поляков ген. Н. М. Щербакова[65] и полковника М. Я. Савича.

Какой контраст с только что утром читанной литературой на ст. Байкал!

Японцы, действительно, охраняли Мысовую. Они глядели на нас с любопытством, и так же рассматривали мы их любопытные меховые шапки. Из уст в уста передавалось, что сюда подаются Читой вспо-

могательные поезда с фуражом и складом и что даже тут есть милиция.

И так сильна была среди этих простых, но твердых людей жажда известного государственного порядка,— что такие факты принимались как откровение.

Спокойно, хотя и ненадолго, вздохнула армия, очутившись, наконец, на ст. Мысовой, но вместе с этим облегчением начались и известные затруднения.

Во-первых, все начальство почувствовало вновь себя на твердом базисе. Налицо была ж. д., налицо были восстановленные известные взаимоотношения с высшей властью. Опять начался «ренессанс генералов». Под них, под каждого отдельно, стали заниматься лучшие дома. Мы, прибыв одними из последних, принуждены были сбиться в числе человек 40 в маленькую квартирку железнодорожного рабочего, где и расположились на полу. И опять полились со стороны обитателей жалобы на дороговизну, на отсутствие порядка. Полились рассказы про местных интервентов-американцев, незадолго только ушедших отсюда! «Карманы у них полны денег,— говорил один рабочий,— а голова разными мыслями. Баб и девок напортили — страшное дело сколько».

С другой стороны, и армия, очутившись в таком мирном положении, не смогла сразу встать на вполне мирный путь. Привычка к «спешиванию» шуб, сена, фуража осталась неистребимой. Стали поступать жалобы на исчезновение таких мирных вещей, как серебряные ложки. Конечно, все это не могло быть отнесено на плюс, и ропот жителей отчетливо изобразился в заявлении одного местного полковника, никогда не выезжавшего из своего городка и рассказывавшего, что они тут «хорошо жили» и что мы — смутили их покой.

Через день я уехал на санитарном поезде: переход через Байкал стоил мне ревматизма, с которым я лежал потом в Читинской общине Красного Креста.

Итак, армия осталась сзади. Из этой небольшой группы уверенных в себе, крепких людей, решившихся и отчаянных в своем решении, безусловно, и прямолинейно практичных, даже жестоких в достижении своей цели,— опять переход на открытый воздух общего мнения, опять сомнения, споры, предательства, интриги и политика...

Сел я в вагон к коменданту поезда, некоему полковнику, с женой, только что сделавшими наш поход. Ни одного слова нельзя было услышать от них,— кроме рассказов о том, как утром они вставали, выезжали, как надо всем царил единый крик: «Понужай!» Теперь вот они в вагоне, едут к атаману, и я не видал ни одного человека во всю мою жизнь, который так бы глупо — точно исполнял свои обязанности в благодарность за это. Ему, например, было запрещено подсаживать в вагон военнослужащих, и он отказывал всем, ссылаясь на то, что «его расстреляют». Этими расстрелами он просто сладострастно грассировал, как-то радуясь, веруя, что вот тут-то есть твердая власть.

На одной из станций к нам обратился один доктор из Ижевской дивизии, у него пала лошадь, сбрую он тащил на плечах, и он просил подвезти его несколько станций, чтобы догнать свою дивизию...

— Всякий офицер, севший в поезд, будет считаться дезертиром,— важно ответил полковник.

Доктор сказал ему дурака и ушел в сербский вагон, шедший в составе нашего поезда, где его и посадили. Наш же комендант неуклонно проводил свою политику.

К вечеру подъехали на Дивизионную, где должен был выгружаться и наш санитарный поезд. Станция была заставлена составами чешского высшего коман-

дования; между прочим, и поезд генерала Жанена стоял тоже здесь. Там увидал совершенно случайно эшелон «Чехословацкого дневника» и пошел «информироваться».

То, что я узнал в долгой беседе от д-ра Гербека, редактора «Чехословацкого дневника», и еще от одного, причастного к редакции доктора,— не поддается описанию.

Перво-наперво, я справился, какого он мнения насчет положения вещей здесь.

— О, латентный большевизмус,— воскликнул д-р Гербек. — Не пройдет и двух недель — атамана Семенова не будет. Да и сейчас одна станция (?) занята красными, вы через нее не проедете... Офицеров снимают.

На мой вопрос, как же вообще мой собеседник представляет себе положение, он ответил мне, что положение «реакционеров» безнадежно проиграно. Что тот режим, который держится до сих пор военщиной, должен быть сменен земским, общенародным.

Необходимо при этом отметить, что слово «земский» по-чешски имело, очевидно, какой-то более широкий смысл, нежели по-русски, почему это слово и пользовалось у них таким успехом.

К такой-то власти и стремился, по словам д-ра Гербека, шт.-кап. Калашников.

— Но, скажите, пожалуйста, доктор, понимал ли он, что ему не удастся удержать власти в своих руках и придется передать ее налево?

— Да, беседуя с ним накануне восстания, я слышал от него, что самое страшное для него будет,— если придется поступить на службу в Красную армию. И он, и его сотрудники, на случай победы большевизма, решили уйти в деревню, в учителя, кооператоры и т. д.

Таким образом, не оставляло сомнений, что эти чехи знали о готовящемся перевороте и где — не в их ли штабах зрел и наливался он?

— Но скажите, пожалуйста,— добивался я,— вы-то сами верили, что власть в Иркутске и вообще на Дальнем Востоке останется в руках Политического центра? Неужели не смущала вас та дряблая масса обывателей, которой решительно все равно, куда бы ее ни влекли?

— Да, я удивляюсь вашей массе,— сказал д-р Гербек,— она как будто нисколько не заинтересована в том, что происходит вокруг. Знаете, я видал семьи, которые начали пульку при старом правительстве, играли при перевороте и кончили при новом. Обладая такой инертностью, трудно что-нибудь сделать для государства.

— Так если вы понимали это, то почему же вы толкали Калашникова на предательство этих масс большевикам?

— Мы считали это лучшим уроком для масс, а во-вторых, это нам нужно в наших собственных интересах — эвакуации.

Я напомнил тогда меморандум чехов представителям иностранных держав, в котором они заявляли о невозможности служить внутри Сибири, где царят порки, расстрелы и т. п. Напомнил о поведении самих чехов и спросил, было ли и это также дипломатическим ходом.

— О,— ответил д-р Гербек,— ...конечно, мы сами отлично понимали, что такое военная необходимость, и к ней прибегали. Но внутри Сибири нет уже войны. Здесь уже образовался целый организм, и дело этого организма — выбрать себе голову — правительство... Конечно, опытов будет еще много...

Я откланялся, проехал до Верхнеудинска в местном поезде и там, на вокзале, увидал поезд полковника Крупского. Специальный, вывозящий на вос-

ток детей и жен военнослужащих армии атамана, он был увеличен несколькими отдельными вагонами, где ехал ген. Сахаров, ген. Войцеховский и т. д., и т. д. Поезд плотно стоял на вокзале и было неизвестно, когда он пойдет. В настоящую же минуту все начальство находилось на банкете, устраиваемом командующему армией начальником Верхнеудинского гарнизона.

Устроившись в поезде, стал ждать открытия «пробки», с одной стороны, в виде банкетов и пиров «по случаю», с другой стороны, в виде освобождения впереди станции от красных. На другой день было морозное, ясное утро, когда я с мучительной болью в ногах бродил по Верхнеудинску. Все было странно и незнакомо. И сопочный пейзаж вокруг, и синева воздуха, и японские разъезды, и китайские лавчонки с их разноцветными тряпочками, и мирное шествование гимназисток и гимназистов, а пуще всего, это — спокойная жизнь.

В парикмахерской, куда пошел побриться, разговор о подходящих каппелевцах. Имена, фамилии фантастических генералов так и сыпались. Рассказы о подвигах, один другого значительнее,— разливались морем. И откуда что бралось?

Зашел в магазин, купил какую-то книгу. Книгу! Докуда доехали! За 4 месяца пути во власти великого русского бога —

Бог снегов и бог метелей,
Бог неезженых дорог,
Бог ночлегов без постелей,—
Вот он, вот наш русский бог[66].

До такой степени отвык от всего этого, что странным, душным, скучным казался этот более-менее налаженный быт.

Конечно, белья купить негде. Спасибо, надоумили обратиться к дамскому комитету. О, Дамские комитеты! Что бы было с Русью, коли бы не было на Руси Дамских комитетов и их микроскопически-великих

дел. Милые дамы-благотворительницы в белых халатах, если не ошибаюсь, в здании Общественного собрания, снабжали нас, оборванных, грязных, всем необходимым, нисколько не смущаясь. Надо отметить, мне решительно повезло. Когда я получил свой пакет, пришло распоряжение какого-то главного начальства — упорядочить дело раздачи белья, отпустив предварительно некоторую долю этому самому начальству. Общая выдача же отныне должна была производиться по именным лишь спискам из частей, за подписью командиров оных.

Велика штука получить пару подштанников, рубаху, портянки да полотенце... Нет, так и тут нужно «бумажку»... за «подписом».

И вспомнился мне случай в пути... В поезде американского Красного Креста до Новониколаевска ехало порядочное количество белья и перевязочных материалов. Я обратился туда за бинтом для Ауслендера. Уполномоченный, м-р Джонсон, смотрел на дело очень просто: дал мне дюжину бинтов, две смены теплого белья. При следующей встрече я опять пошел за бинтами и натолкнулся на следующую картину: какой-то очень полный полковник, держа на руках несколько смен отличного белья, просил весьма настойчиво дать ему еще несколько пар, уверяя, что у него ничего нет. Джонсон грубо отказывал, говоря, что очень много белья оставили в Омске, по вине русских военных властей, и что больше он дать не может. Но так как полковник продолжал настаивать, он дал ему еще несколько пар — до полдюжины...

Получив просимое, полковник весьма приятно осклабился, раскланялся и спросил:

— Расписочку прикажете написать?

— Нет, не надо, берите так,— был ответ.

О, эти привычки к расписочкам. И ведь воруют при них не меньше...

Немилосердно ныли ноги, когда после бани пришел в гостиницу... И ночлег в гостинице, и кровати, правда, с мелкими клопами, но в простынях и с подушкой, густо усыпанных японским гениальным порошком (хризантема!), с шубой, впервые мирно висящей на шаткой двери...

— Когда постранствуешь, воротишься домой,—

И дым отечества нам сладок и приятен...

Наконец, поехали. Все выше и выше стало вздыматься от земли олимпийское начальственное небо. Проехали опасную станцию, и наш паровоз совместно с броневиком умчал одни начальственные вагоны экстренно в Читу, где был уже готов опять какой-то обед. Медленно тянулись мы до Читы; прибыли ночью, с крушением. Никаких хором «каппелевцам» предоставлено не было или, по крайней мере, комендант обещал узнать это на следующий день. Переночевал в вагоне и устроился, наконец, в Красном Кресте, благодаря любезности доктора И. А. Болтунова.

Были морозные, ясные февральские дни, бесснежная гололедица. И, ползая кое-как по Чите, оставалось собирать только лишь сведения о своих соратниках:

Иных уж нет, а те далече,—
Как Сади некогда сказал[67].

Чита, в это время движения омской волны, представляла некоторый регистрационный пункт — кто проехал, кто ехал и кто не доехал. События Омска за 4 месяца уже значительно побледнели. На первом плане стояли события Иркутска. Эвакуация из Омска для тех, кто успел добраться до Иркутска, была, собственно, пустяком и прошла отменно благополучно; про Иркутск же этого сказать было нельзя, так как борьба за него продолжалась довольно долго, и в это время уходило время для ухода из Иркутска. Поэтому уход этот не для всех равно был легок, а так

или иначе, именно падение Иркутска, а не Омска, как бы являлось олицетворением падения Омского правительства.

Одним словом, уход из Иркутска занимал доминирующее положение, и в Чите стоустая молва ловила и называла тех, кто проследовал именно Иркутск. Ужас же положения тех, кто остался еще сзади, кто был захвачен красными до Иркутска, стал выясняться, осаживаться только по окончании транспортирования Иркутска...

Таким образом, «далече» оказались многие. Из тех же, которые были налицо, значительное число, все министры проследовали весьма быстро через Читу, не задерживаясь в ней. Общественных деятелей выехало мало, и в Чите остановились люди только определенно правого лагеря, вся заслуга которых была в том, что «мы говорили». Здесь уже находился кн. А. А. Кропоткин[68], подъехали и другие. И вот, на фоне своеобразного читинского уклада, на фоне специфической военной канцелярии, но не обычно распущенной, а скованной внутренним единством своего казачьего уклада, закаленного и закрепленного в годы Гражданской войны, начинают пускать корни и слабые ветви отпрыски омских речей и подъемов последнего периода.

Если Омск, как-никак, а представлял из себя однородную массу, скипевшуюся идеологически-открыто вокруг одного пункта, то про Читу нельзя сказать этого. Условиями самими поставленная в необходимость находиться в более спокойной атмосфере, пользующаяся широко чужестранной помощью, ловко и макиавеллистически управляемая,— она не могла дать ни резонанса, ни отзвука тем особенным словам, которые родились в ее аудиториях от «беженцев».

Это было видно еще и тогда, в дни нашего первого пребывания в Чите, и это осталось и потом. Общественности не суждено было расцвести в Чите, хотя

все лето 1920 г. было наполнено судорожными попытками к таковой.

Вокруг Читы остались и осели, кроме того, учитывающие момент, и это была некая новая группа, во главе с омским министром А. М. Окороковым, сменившая начавших разбегаться уже непосредственно семеновских деятелей[69].

Не могла в этом деле помочь и забитая, ничтожная читинская пресса, находившаяся под анекдотическими цензурными условиями. И вполне понятно, почему первый вал, осевший было в Чите, под атаманом, постепенно схлынул потом в сторону Харбина. Чита фатально, несмотря на акт 4 января за подписью Верховного правителя, передававшего атаману Семенову власть, не могла стать заместительницей Омска, и российской общественности, еще сохранившей коекакие остатки свои, было суждено долго веяться по ветру, ибо ни интернациональный Харбин, эта китайская Женева, ни сбитый с толку Владивосток не могли стать для нее центром.

XII

ИТОГИ

Пора подвести итоги.

Как стая дантовских теней, пронеслись эти воспоминания, но не холодных и бестелесных, а схожих с теми тенями, которые вызваны были Одиссеем из Аида, и, толпясь у ямы, жадно пили кровь. Кровь давала им способность речи. Не мертвы и наши тени воспоминаний: слишком много в них крови, они тоже не могут молчать.

То, что описано здесь,— должно быть отнесено к чистейшему виду *демократизма*, если употреблять это слово в несколько необычном значении. Эти бед-

ствия переносил весь *народ*, демос, без различия классов и национальности. Явления беженства, Гражданской войны, поголовного мора, случайных смертей и т. д. слишком *массивны*, слишком касаются самих масс, чтобы к ним можно было подойти с точки зрения классов, партий, национальностей. Бедствия эти настолько велики, что перед ними невольно пасуют эти столь обычные в обыкновенной, так сказать, жизни политические категории.

И этот факт пасования политических категорий этих — факт колоссального значения. Он родит подлинный национализм, любовь к своей нации, своему народу, которому, собственно говоря, совершенно безразлично, от чего страдать — от правых ли, от левых ли, и выдвигает повелительно на первый план идею народной солидарности — идею, которая давно уже владеет умами лучших людей — и внедрить которую в сознание могут только, увы, беспощадные бичи самой действительности.

Как же это происходит?

В самом деле. Вспоминая вышеописанное, вспоминая лично пережитое в Совдепии в 1918—1919 гг.,— невольно изумляешься — да как же могли люди жить при этих условиях и как могут продолжать жить. Бедствия неописуемы. Наши рациональные мерки отказываются быть приложенными к явлениям этим, — вот точно так, как никакой обычный «экономист» не сможет объяснить, как это люди, с бюджетом в 3000 руб. в месяц, могут жить при цене хлеба в 10 000 руб. пуд.

Что, при таких условиях, при таких ломках в обществе, может внести с собой в умы наша привычная идея *партии*, т. е. некоей части организованного целого, партии, как понятия, от всех бед в этой самой целостной организованности находящей основание своего бытия, идея партии как пути к устроению «общего блага»? Что, при таких условиях, может

значить наш привычный «класс», как определенный слой определенного общества — ибо само-то общество никак не может почесться лишь количественным собранием людей, а должно иметь какую бы то ни было организацию — чего оно и лишено в годы народных бедствий. Откуда же и взять эту самую организацию, если состояние Гражданской войны — как раз кровавое отрицание таковой?

В русском обществе умерли и класс, и партии, как умерло и само государство. Может остаться лишь только идеологическая тень таковых. И если по этим теням выходит непонятно, как же можно жить без таковых — определенного правопорядка, без всего того навыка социально-политических отношений, — то это расчет не менее праздный, нежели расчет и смета на месяц по бюджету совдепского гражданина.

Значит, можно, если мы живем в таких условиях.

Виктор Гюго указывает, как над страшным котлом французской революции, над которым клубился кровавый пар, мало-помалу начали играть светлые лучи, из которых в конце концов и вышло современное общество[70].

Любители исторических параллелей, исторических аналогий делают на этом известные выводы свои. Будет некогда, мол, день и восстанет великая Троя, так что, собственно, и нам беспокоиться-то очень не приходится.

Да, но даже по ним и самим восстановление это ожидается только в «конце концов», до этого же конца котел должен кипеть, подобно адскому котлу, кипеть всеми ужасами распада, и поистине холодное сердце нужно иметь, чтобы, сидя на берегу адского огненного моря, спокойно ждать погоду, спокойно констатировать неизбежность и закономерность исторического процесса.

Эта интеллигентствующая устряловщина глубоко, органически противна всякому ясному сознанию, не

потому, что она «не права». Быть может, она и права, да, кроме того, всякие искатели истины у нас как-то особенно превозносятся, хотя бы они и были типа Кифы Мокиевича. Истину пусть ищет всякий, но на сей предмет, на то, чтобы не подвергаться тяжким упрекам в бесчувственности, необходимо запастись немногим — олимпийским спокойствием Архимеда, которого убили за изучением его кругов.

Вот этого, малого-то, и не хватает! Перед все растущим распадом, перед гулким грохотом все падающих общественных и государственных норм и социальных отношений наши Архимеды бегут не в железное лоно математики и ее формул, а в шаткую, но мягкую постель, которую стелет история. Аналогии, необязательные и недоказательные, на один момент дают схемы, неподвижные кинематографические снимки с несущегося процесса, зажимают в привычные политические и исторические категории клочки пены бурного моря — и в мертвом, мумифицированном виде дают возможность на минуту спокойнее жить и дышать среди этих прирученных, заключенных в закон мумий. Кто имеет желание в периоды революций говорить о государстве, о партиях, политике,— тот, конечно, может это делать, но говорить о них он может только как о чистой идее. Как только он попробует говорить о них как о чем-то конкретном,— так сразу видно, как они распадаются под свежим дыханием исторической бури.

Сколько, например, мы во время нашей революции выставляли разные образования, как государство Российское. Вспомним Россию Керенского. И все-таки она пала, несмотря на акт, фиксирующий даже форму правления у этого государства, как «республику».

«Республика» эта упала так же быстро, как и те многие всероссийские и провинциальные правительства, которые возникали, как пузыри на воде после дождя, и так же скоро лопались. Удивительно в этой

их смене одно — необыкновенная готовность известных кругов к их образованию, «влеченье, род недуга». В основе же это одно — желание думать готовой формой, в готовом искать знакомых элементов. Пусть не остается ничего, кроме советской власти; ничего, обойдутся и с нею, если нет выбора! В результате эти робкие души почиют на ее прокрустовом ложе — но что же делать, если, кроме нее, нет никаких признаков государственности!

Но распад непредотвратим. Напрасно всероссийские эсеры, в параграфе 16 своей декларации, от 20 августа 1920 г., указывают на то, что они, не выступая в «данный момент» с вооруженной борьбой и занявшись «подготовкой масс» к грядущим событиям, тем не менее не могут допустить никакой «контрреволюции» и должны принимать для ликвидации ее все меры взрыванием изнутри, «как то блестяще удалось во время правительства Колчака».

Так ли это? Действительно ли в ней, в катастрофе этой виноваты эсеры, проявившие в ней, как пишется в разных партийных отчетах, «колоссальную выдержку и дисциплину». Мы видели картину развала. Мы видели, как фронт разваливался сам, как его разваливал всякий, кто хотел. Мы видели распри командного состава, его бюрократичность, возмутительную незаботливость снабжающих частей, поголовное почти отсутствие гражданского мужества, нелепый саботаж темных людей, мечтательность и непрактичность правящих кругов. Развал происходил стихийно. Да просто и не умели не разваливать! Вся наша история, вскормившая наш роскошный, ленивый, сытый своеобразный быт, вся она была тут, в этом испытании массовой личной храбрости и предприимчивости на ветру истории и Гражданской войны.

Эсеры ли виноваты в том, что глупый поручик, военный контролер станции, сам не знал, зачем он поставлен? Эсеры ли виноваты в том, что телеграм-

ма об умирающих русских людях не была передана центральному правительству, только потому, что она «частная»? Эсеры, ли, наконец, виноваты в том, что генерал Матковский не сумел как следует устроить пробной тревоги?

Между тем все эти мелкие факты, в совокупности своей имели колоссальное значение. И, конечно, в этой лавине дезорганизации преступно-провокационная работа эсеров имела совершенно ничтожное значение. Заявление эсеров, что это дело их рук,— пустое хвастовство! Что они могут сделать против той же кроваво-организованной Советской России?

Весь распад имеет глубоко-стихийный характер. Очевидно, он *должен* был дойти до самых глубин, до самого дна, дабы очистить творческие силы от рутинно-ленивых переживаний нашего быта. Народ должен, непреодолимо должен сказать свое веское слово о своей собственной судьбе — и он говорит его, говорит, быть может, глухо, косноязычно, сейчас же отбрасывая каждое слово, которое он произнес, не считая его для себя нисколько обязательным, раз он находит лучшее.

И, с этой точки зрения, видно, как в процессе Гражданской войны выдвигаются самой жизнью лозунги, далекие от революционной фразеологии, библейски-простые по своему содержанию, но тем не менее кондовые, крепкие, как кость, как скелет. Это — личная свобода, независимость от гнета «коммунии», наконец, право собственности, как совокупность всех этих прав.

Именно *эти* лозунги настолько сильны, что они заставляют браться за оружие не человека, не двух буржуев, а целые области. Из-за них подымается Гражданская война. Пусть теперь война пока *кончена* — все равно не решены проблемы, поставленные описанной Гражданской войной. Та Гражданская война не была лишь только «авантюрой» нескольких лиц, не была лишь восстанием кучки буржуазов, не «ан-

гличанка гадила» в ней в виде интервенции. Нет, и я настаиваю на этом, она задевала значительные слои народа, что доказывает хотя бы так удачно начатое Дм. В. Болдыревым крестоносное движение. Она была логически оправдана. Война велась не зря — не может она и кончиться впустую! Ее цель будет достигнута тогда, когда будут крепкими людьми, установившими свою власть, установлены, введены в обиход и требуемые насущно принципы.

Это в процессе Гражданской войны было видно во всем. И в той страстности, с которой она ведется, в разговорах и даже в тоске о прошлом, которая это великое движение позволяет смешивать со стремлением к старому и, таким образом, придавать ему контрреволюционную окраску. *Прошлое ценилось в этих активных рядах борцов не по своим «ужасам», а потому, что оно было до некоторой степени воплощением того, что так необходимо теперь.*

И поэтому эсеры, ведущие свою работу исключительно к тому, чтобы мешать этому во что бы то ни стало, совершают страшную, кровавую ошибку, если не просто предательство. Как! Во имя своих догматов мешать жизни течь туда, куда ее влечет склон вещей. Как! Стараться руководить ею, базируясь на паре шатких теорий и недоказанных гипотез. Да когда же, наконец, кончится этот кошмарный гипноз! Да чем же виноват весь народ, когда язык не дает ему иного слова, как «старое», для обозначения того желаемого строя, при котором будут признаны те принципы, о которых говорилось выше и на которых вырос Запад и до сих пор стоит ненарушимо.

Они должны прийти, эти принципы, и придут, потому что они не только возможны, но, верим твердо, единственно необходимы.

Великий Макиавелли говорит, что принципы государственной свободы заключаются в личной безопасности, неприкосновенности жилища и спокойствии за честь жен, сестер, дочерей. «Но,— прибавляет он

меланхолически,— никто не чувствует себя благодарным за то, что его не оскорбляют».

Как ярко освещена выражением этим нам всегдашняя готовность просить то, что мы имеем. Правда, разве можно быть благодарным за то, что вас не оскорбляют? Но зато с какою силою пробуждается тоска по тому, что народ так метко и широко зовет порядком.

Сила эта всенародна, и мы твердо верим, что в один тяжелый час она зажжется по всему народу. Она будет элементарно проста, эта тоска по строительству, и будет идти с конкретного низа, без всяких широких идей о государстве.

Факт, что меня «оскорбляют»! Факт, что нет никакого «государства», в смысле налаженности его функций, которое бы защитило. Более того. И хорошо, что его нет в такие смутные времена, ибо от него могла бы существовать одна лишь идея, *а ничто так не тиранично, как голая идея, хотя бы государства.* Большевики ясно доказывают это, и на собственном тяжелом опыте народ ясно познает старую двойную проблему, поставленную в мировом богословии: проблему Бога — Идеи и Бога Живого, у которого можно что-нибудь попросить.

Государство *должно быть живым*, чтобы не быть тиранией. *У него народ может что-нибудь попросить.* Если этого нет — государства нет, несмотря на наличие всех нормальных признаков его — Власти, Территории, Населения. Так нет и России.

Тогда люди начинают сами строить свое государство, свой порядок. Чуть ли не на почве «общественного договора» образуются маленькие ячейки, все свойство которых — в их непроницаемости. *Они не хотят никакого постороннего вмешательства* и будут так же драться с Колчаком, как и с Лениным.

В России идет этот огромный процесс атаманства, подбирания под себя отдельными лицами годных к

борьбе и к строительству сил. Он очень широк, этот процесс, обнимающий правых и левых, процесс, по существу похожий как у Щетинкина, Рогова, Махно, Калашникова, Буденного, так и у Семенова, Унгерна, Калмыкова, Казагранди, Перхурова и др.[71] Тот, кто сумеет цементировать вокруг себя определенную массу людей,— вот тот и атаман. Как рыцарские замки, по всей России высятся теперь эти уделы атаманов, и центральная власть уже теперь должна лавировать между их силой и их претензией.

Их сила грядет. Она в близости отношения к массе, которая образует не войско вокруг них, а *дружину*, содружество воинов, спаянных круговой порукой. Их лозунги — просты и понятны, потому что не далеко расстояние до самых толп. Вот выступал же в прошлом году «большевик» Щетинкин, в качестве *генерал-лейтенанта, за Николая Николаевича*[72], причем Ленин и Троцкий должны были у него быть министрами. Этот документ видел я собственными глазами.

Так, в муках, сам народ хочет установить, наконец, ячейки порядка. Искать аналогий в историческом процессе, когда революция сожгла все архивы, совершенно нелепо, ибо что у нас осталось в голове, кроме излюбленных фраз да привычных мыслей! Они всегда потерпят изменение, эти мысли, от столкновения с обстановкой, и если, по «историческим законам», нам полагается, чтобы был Наполеон, то уверен — то будет «наполеонистый Емельян, либо емельянистый Наполеон». Третьего нет.

Катастрофа неотвратима, но в бурях ее зреет сам народ, и никакого юридического факультета не нужно будет ему, чтобы установить этот порядок. Он устанавливает его, выдвигая своих людей. Что же касается идеологии — то она ему не нужна. Поэтому она будет старою.

Пышным цветом распускается ныне и там и здесь рациональное чувство. Религия сходит с византий-

ских темных небес на испепеленную землю, жаждущую ее. Умирает великая обезьяна, породившая нас, ради которой мы должны любить друг друга (Вл. Соловьев)[73], и в недрах народа шевелится старое слово, заключающее триаду византизма:

— Царь.

Будет ли это так, не так — мы не знаем. Мы это увидим. Но мы знаем зато одно: *что нет на картах интеллигенции*, схематизировавшей сбивчиво Запад, тех путей, *которыми пойдет народ*!

Но надо идти с ним, а не гадать, куда он пойдет, пользуясь всем тяжелым аппаратом научной мантики. И если среди исторических бурь трудно взять направление, то да послужат компасом эти прекрасные слова того же Макиавелли, сказанные им раздираемой на части Италии:

— Италия ждет своего избранника, который уврачует ее раны, остановит грабежи и насилия страждущей Ломбардии, положит конец лихоимству в Тоскане и Неаполе, исцелит застарелые ее язвы. Италия ждет избавления от жестокостей и наглости варваров.

Всякий встанет под знамена во имя свободы.

Вы, представители знатных родов, возьмите это освобождение на себя. Раньше всего надо учредить национальное войско.

Найдется ли один итальянец, сердце которого не трепетало бы при одной мысли о господстве варваров над Италией.

Доблесть против безумья,
Хватай оружье! В битву! Проворно!
Или античная доблесть
В Италии сердце безмолвна?

(Петрарка)

А наше сердце?

Конец.

КОММЕНТАРИИ

Книга Всеволода Иванова «В Гражданской войне (Из записок омского журналиста») была издана в конце 1921 г. в Харбине возглавляемым М.С. Лембичем издательством «Заря». Текст книги хранит следы авторской торопливости, стремления рассказать о событиях по первым впечатлениям. Отсюда проистекают неизбежные неточности не только в пересказе фактов, но и в передаче имен и географических названий. Репортажный характер изложения делает работу В.Н. Иванова замечательным историческим документом, современным описываемым событиям источником по истории Гражданской войны и Белого движения в Сибири.

Именно поэтому принято решение печатать текст по харбинскому изданию 1921 г. Общеизвестные имена и события не комментируются. Выявленные опечатки и типографские погрешности исправлены без оговорок.

[1] Посвящение книги трем столь разным людям, которых объединял по сути лишь недавний трагический уход из жизни,— отражение характерного для автора свойства, которое может быть определено как стремление смотреть на мир широко открытыми глазами и без предвзятости.

Колчак Александр Васильевич (1874, СПб.— 1920, Иркутск) — военачальник, адмирал, полярный исследователь, один из руководителей Белого движения.

В 1894 г. окончил Морской кадетский корпус. Служил на Балтийском море и Тихом океане. Участник Русско-

японской войны. Оставался в Порт-Артуре до капитуляции крепости. Награжден георгиевским оружием за храбрость. Был ранен, попал в плен. В 1913 г.— капитан 1-го ранга. В начале Первой мировой войны организовал постановку мин на Балтике, командовал Минной дивизией. С 1916 г. контр-адмирал. В июне 1916 г. командующий Черноморским флотом с производством в вице-адмиралы. После Февральской революции привел флот к присяге Временному правительству.

В июне 1917 г. получил назначение возглавить Российскую военно-морскую миссию в США. К намерению большевиков заключить мир с Германией отнесся резко отрицательно. В конце 1917 г. был принят на английскую военную службу. Руководил созданием вооруженных сил на КВЖД. Осенью 1918 г. был назначен военным и морским министром Временного всероссийского правительства (Омской директории). 18 ноября 1918 г. совершил государственный переворот и был провозглашен Верховным правителем России и Верховным главнокомандующим. Произведен в адмиралы.

Премьер-министр Директории П.В. Вологодский, на решающем заседании голосовавший против кандидатуры Колчака, спустя несколько дней записал в дневнике: «Меня подкупает Колчак своим благородством и искренностью желания служить интересам родины, интересам возрождения России, а не каким-либо личным, классовым или партийным. Может быть, в нем и действительно все спасение России».

После первоначальных успехов армии Колчака стали стремительно отступать. Отступление вылилось в Великий Сибирский Ледяной поход. В январе 1920 г. Колчак был предательски арестован чехословаками, в эшелоне которых он находился, и передан едва возникшему в Иркутске Политическому центру, выдавшему его большевикам. Расстрелян 7 февраля 1920 г.

Итог колчаковской эпопеи подвел Д.В. Филатьев: «Возглавленное 18 ноября 1918 года адмиралом Колчаком дело потерпело полное крушение. Это не дает еще оснований, чтобы история вынесла ему обвинительный

приговор. Он делал все, что было в его силах и умении, а за свои ошибки жестоко расплатился мученической кончиной. Но, несомненно, история отметит роковую для Колчака и России случайность, что адмирал оказался в Омске в тот самый момент, когда Директория доживала свои последние дни и сам собою народился вопрос о единовластии.

Нашелся ли бы тогда не только в Омске, но в России человек, который не указал бы на Колчака как на как бы судьбой предназначенного диктатора. Тогда в Омске власть должна была достаться ему, как законная дань его славе по командованию флотом в Балтийском и Черном морях. Впоследствии другим, а может быть, и самому Колчаку, стало ясно, что из всех возможных тогда кандидатов он был, по характеру и по его неподготовленности к военному и государственному управлению, наименее пригодным для носителя верховной власти. Но таков был перст судьбы».

Иначе судил осведомленный Г.И. Клерже, который в эмиграции написал: «Вина за полный провал политики и за гибель жизни самого Верховного правителя лежит исключительно на Министерстве иностранных дел Омского правительства и персонально на самом министре И.И. Сукине и его ближайших помощниках. Этот жесточайший промах омской дипломатии должен был войти в историю всего Белого движения как самая мрачная и тягостная картина всего испытания, которое выпало на плечи всех, чаявших прихода избавления России от большевиков со стороны Востока». Клерже подразумевал, что напрасным был отказ от прямой военной поддержки Японии. По иронии судьбы несколько лет спустя по написании этих строк генерал Клерже был расстрелян оккупировавшими Маньчжурию японцами.

Болдырев Дмитрий Васильевич (1885, СПб.— 1920, Иркутск) — философ, общественный деятель, участник Белого движения в Сибири.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Учился в Марбургском и

Гейдельбергском университетах. С 1918 г.— приват-доцент историко-филологического факультета Пермского университета.

Основная философская работа Болдырева — «Знание и бытие» осталась незавершенной, опубликована посмертно (Харбин, 1935 г.) с предисловием знаменитого Н.О. Лосского, который видел в Болдыреве своего последователя и яркого представителя интуитивизма. Был убежден в необходимости и плодотворности духовного «первенства» Православной церкви в общественной жизни России. Относился резко отрицательно к российскому революционному движению.

С 1919 г.— руководитель Русского бюро печати при колчаковском правительстве. Вдохновитель и организатор добровольческого движения в Сибири, товарищ председателя «Братства Св. Гермогена по организации Дружин Святого Креста». Идеолог крестового похода православного русского воинства против большевиков.

В январе 1920 г. арестован в Иркутске вместе с адмиралом Колчаком. Умер в тюрьме.

Клафтон Александр Константинович (1871, Вятка — 1920, Омск) — общественный и политический деятель, публицист. Руководитель Восточного комитета Партии народной свободы (кадетов).

Учился на медицинском факультете Казанского университета. Отчислен за участие в студенческом движении, арестован, в 1894 г. выслан в Самару. Занимал чиновничьи должности. С 1905 г. член, затем — председатель Самарского губернского комитета Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Сотрудничал с газетами «Самарский вестник», «Волжский день».

Активный деятель и вдохновитель Самарского общества народных университетов. Создатель «Общества содействия открытию высшего учебного заведения в Самаре» (1909), способствовал открытию Высшего женского педагогического института (1913 г.).

Ценитель и знаток восточных культур. В 1911 г. посетил Египет, где приобретал произведения древнееги-

петского искусства для коллекционера Альфреда фон Вакано, основателя Жигулевского пивоваренного завода в Самаре. Был в Японии, откуда привез ценную коллекцию гравюр на тему Русско-японской войны, которую передал в дар Самарскому художественному музею.

В 1916 г. заведовал плавучим госпиталем для лечения и реабилитации раненых. Сотрудничал в Красном Кресте. В 1918 г.— участник переговоров об обмене заложниками между красными и белыми. Председатель Президиума Восточного отдела ЦК Партии народной свободы. Директор-распорядитель «Русского общества печатного дела» («Русского бюро печати»), в ведении которого находились все информационные службы правительства Колчака.

После поражения Колчака в январе 1920 г. арестован, в июне расстрелян.

[2] Эвакуация из Омска тыловых учреждений колчаковской армии и беженцев началась в конце октября 1919 г. Вечером 12 ноября адмирал Колчак и его штаб покинули Омск, а в ночь с 13 на 14 ноября в город вошли красные части. Для Иванова-журналиста характерно стремление по мере возможности датировать этапы работы над книгой.

[3] Рядовой участник событий, которые происходили до оставления Омска и начались отступлением колчаковских войск весной 1919 г. с Волги и Камы, В. Варженский много лет спустя в воспоминаниях «Великий Сибирский Ледяной поход» рисовал достоверную картину:

«Были слухи, что на левом фланге, где-то на Волге и, кажется, у Казани, чехи оголили фронт, уйдя со своих позиций, и там образовали опасный прорыв. Волжская группа откатилась, а мы для выравнивания фронта сделали то же самое. Но это были только слухи. В чем была истинная причина — установить было трудно. Достоверно было только одно, что мы отходили и отходили, правда, первое время — планомерно, в порядке, согласно приказам высшего командования.

Дальше перед нами лежал Урал с его тесными проходами по ущельям, с рабочими поселками горнозаводской промышленности, из которых большой процент, по моему мнению, тяготел к нашему врагу и этим, конечно, создавал угрозу отступающим, чем только и можно объяснить тот стремительный уход нашей армии за Урал, на равнину Тобольской губернии, где простирается так называемая Западно-Сибирская низменность.

Имея у себя в тылу Главный штаб Верховного правителя адмирала Колчака в Омске и целую богатую Сибирь как тыл, откуда можно было черпать провиант и живую силу, т. е. пополнение, армия в этот период была еще и физически и морально крепка и могла не только сдерживать противника, но и переходить в наступление. В то время у всех была какая-то уверенность, что армия дальше реки Тобола, с опорными пунктами Тюмень — Ишим, отступать не будет.

Поезда, полные беженцев из Перми и других городов, медленно и даже весело двигались по живописным местам Урала. Чудная летняя погода. Очаровательные, с соловьями, ночи... Остановки в лесу или на берегу красивых озер, не доходя до станций, ввиду их перегрузки... Прогулки... Собирание цветов... Оставление записочек на стенах вокзалов родным и друзьям, едущим в следующих эшелонах, чтобы не потеряться... Все это создавало скорее беспечную картину приятного и не совсем обычного путешествия; ожидания быстро надвигавшейся трагедии не было заметно.

Несмотря на глубокую веру как самого командования, так и всей движущейся массы в благоприятный исход создавшегося положения, участившиеся переходы к красным целых рот, а иногда и батальонов внушали большие опасения».

[4] *Язвицкий Валерий Иоильевич* (1883, с. Орлов-Гай, Саратовская губ.— 1957, Москва) — драматург, поэт и писатель. Член РСДРП в 1903—1912 гг.

Учился в Казанском университете. За революционную деятельность сослан в Мезень. Издавал газету

«Мезенский рабочий». Служил на лесопильном заводе братьев Ружниковых, за организацию забастовки выслан на остров Моржовец в Белом море, но бежал за границу.

В Женеве некоторое время жил на квартире у В.И. Ленина. Учился в Женевском университете. Участвовал в оказании помощи политэмигрантам. Собственный корреспондент либеральных газет «Русские ведомости» и «Утро России» в Болгарии, а с началом Первой мировой войны — в Румынии и Сербии. С 1914 г. на фронте как военный корреспондент. Осенью 1915 г. вернулся в Россию. Приветствовал Февральскую революцию. В 1918—1919 гг. служил чиновником Омской директории и колчаковского правительства. Позднее активно выступал в советской периодической печати. Писал этнографические и искусствоведческие статьи.

[5] *Шендриков Илья Никифорович* (1878, ст. Софийская, Семиреченская обл.— 1957, Гонконг) — присяжный поверенный Омской судебной палаты.

В разные годы симпатизировал социал-демократам и эсерам. В 1918—1919 гг. член Областного туркестанского комитета и представитель Семиреченского казачьего войска при Временном российском правительстве. С 1920 г. в эмиграции в Шанхае. Редактор газеты «Русское эхо» (1920—1922). Один из инициаторов создания Казачьего союза, его председатель в 1925—1929 гг. Известен как противник атамана Семенова и семеновцев. «Революционную борьбу с советской властью за новый государственный строй» он видел как «борьбу пропагандой, организацией конспиративных кружков, исканием опоры внутри Сибири и России путем посылки туда верных людей не для поднятия безумных восстаний, а для установления общности взглядов и идей эмиграции с народными массами. Это не интервенция и не услужение иностранцам».

После Второй мировой войны жил в США.

[6] *Иванов-Ринов Павел Павлович* (1869, Семипалатинская губ.— не ранее 1925) — военачальник, участник Первой мировой войны и Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант, атаман сибирского казачества.

Окончил Павловское военное училище (1890). Служил в казачьих частях в Сибири и Туркестане. В 1914—1915 гг. участвовал в боях в Галиции, произведен в полковники. В 1916 г. отозван с фронта, назначен семиреченским губернатором. Сыграл решающую роль в подавлении антиправительственного мятежа в Туркестане. В 1917 г. командир Отдельной Сибирской казачьей бригады.

Один из руководителей антибольшевистского движения Степной Сибири, атаман Сибирского казачьего войска. В октябре — ноябре 1918 г.— военный министр Временного Сибирского правительства и командующий Сибирской армией Уфимской директории. Издал указ, объявляющий предателями всех офицеров, служивших у большевиков. Командующий Семиреченским фронтом с сохранением должности командующего Сибирской армией. Проявил колебание и не сразу признал Колчака Верховным правителем России.

В декабре 1918 г. снят с поста командующего Сибирской армией, отправлен во Владивосток, где назначен командующим войсками Приамурского военного округа. Был обвинен в бездействии и провале Тобольского наступления в августе — октябре 1919 г. Отстранен Колчаком от командования, в ноябре 1919 г. арестован генералом Пепеляевым за измену. Бежал в Красноярск. В 1921 г. начальник штаба войск атамана Семенова на Дальнем Востоке. Вскоре занял должность начальника тыла армии во Владивостоке. Эмигрировал в Харбин. С 1922 г. сотрудничал с советскими агентами. После разоблачения бежал в СССР.

[7] *Вологодский Петр Васильевич* (1863, с. Курышинское, Енисейская губ.— 1925, Харбин) — государственный и общественный деятель.

Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Исключен за участие в студенческих беспорядках в 1887 г., выслан в Томск. В 1892 г. сдал экстерном экзамены за курс юридического факультета Харьковского университета.

С 1887 г. служил чиновником в разных сибирских городах. С 1897 г. присяжный поверенный. Выступал как адвокат в процессе по делу о демонстрациях в Томске в 1905 г.; как обвинитель в деле о черносотенном погроме в Томске в 1905 г. Участвовал в создании организации эсеров в Томске. Активный деятель сибирского областничества, участвовал в подготовке проекта «Основные положения Сибирского областного союза» и в работе его съезда, который проходил у него дома в августе 1905 г.

Избирался депутатом во Вторую Государственную думу от Томской губернии по списку прогрессистов. Сотрудничал в газете «Сибирский вестник» (1904—1905), «Сибирская жизнь» (1916—1917).

С января 1918 г.— министр иностранных дел Временного правительства автономной Сибири, в 1918—1919 гг.— премьер-министр Сибирского правительства и член Директории, затем — премьер-министр правительства Колчака. С ноября 1919 г. в отставке. Эмигрировал в Китай, служил в торгово-промышленном товариществе. С 1920 г. входил в Комитет представителей русского населения Тяньцзиня.

[8] *Булдеев Александр Иванович* (1885, с. Горелое, Мелитопольский уезд, Таврическая губ.— 1974) — поэт, писатель, литературный критик.

В годы Гражданской войны редактор газеты «Сибирская речь». Примыкал к профашистским кругам белой эмиграции. В годы немецкой оккупации Крыма активно сотрудничал с нацистами.

[9] *Хорошкин Борис Иванович* (1883 — после 1931) — генерал-майор. Участник Русско-японской и Первой мировой войн.

Окончил Константиновское артиллерийское училище. Боевой офицер. Участник Белого движения на Восточном фронте. С сентября 1918 г. помощник военного и морского министра правительства Уфимской директории. При Омском правительстве возглавлял главное управление по делам казачьих войск. Член Военно-экономического общества в Омске. В эмиграции в Югославии, затем во Франции.

[10] *Ауслендер Сергей Абрамович* (1886, СПб., возможно, Сибирь — 1937, Бутовский полигон, Моск.обл.) — писатель, драматург, театральный и литературный критик.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1910). Поддерживал дружеские отношения с М.А. Кузминым (братом матери), который ввел его в художественно-литературное общество. Не принял Октябрьскую революцию. Был военным корреспондентом в белой армии, в 1918—1919 гг. сотрудник Русского бюро печати при правительстве Колчака в Омске, автор официальной биографии Колчака. В 1920 —1922 гг. работал в детдоме под Томском.

В 1922 г. вернулся в Москву, служил заведующим литературной частью в ТЮЗе, писал историко-революционную беллетристику для юношества. Был дружен с председателем ОГПУ В.Р. Менжинским, с которым познакомился в предреволюционных литературных кругах. В октябре 1937 г. арестован, расстрелян.

Сергею Ауслендеру посвящено стихотворение Николая Гумилева «Маркиз де Карабас»:

<...> За вас
Я смело миру брошу вызов.
Ведь вы маркиз де Карабас,
Потомок самых древних рас.

[11] *Мельников Федор Евфимьевич* (1874, Новозыбков, Черниговская губ.— 1960, Румыния) — старообрядец Белокриницкого согласия, начетчик; духовный писатель-апологет, один из наиболее плодовитых писателей-старообрядцев.

Учился у священноинока Арсения (Швецова), будущего старообрядческого епископа Уральского (1897—1908). Публиковал статьи в старообрядческой периодике. Секретарь петроградского старообрядческого епископа; член Союза старообрядческих начетчиков; председатель начетнической комиссии при московском Братстве Честнаго и Животворящего Креста; секретарь совета общины Рогожского кладбища; секретарь старообрядческой Архиепископии Московской и всея Руси. Редактировал старообрядческие газеты «Утро» и «Народная газета», которые издавались после прекращения гонений на старообрядцев в 1905 г. В 1916 и 1918 гг. был кандидатом в епископы.

Директор старообрядческого учительского института в Москве, в 1918 г. отстранен от должности по требованию большевистских властей, уехал в Барнаул, где инициировал издание журнала «Сибирский старообрядец» с целью «укрепления христианства и возрождения великой, единой и независимой России».

После поражения Колчака скрывался в таежных скитах и на отдаленных заимках Алтая, но при этом продолжал писательскую деятельность, в 1921 г. печатал антибольшевистские листовки в Ново-Архангельском скиту. Написал книгу «Откуда произошла вера в Бога. (Публичный диспут в советской России)», где в литературной форме опровергал доводы атеистов. Позднее эта книга неоднократно переиздавалась (впервые была издана в Румынии после эмиграции автора). Главным героем книги является деревенский пчеловод Демьян Лукич, побеждающий на диспуте «воинствующих безбожников».

Был заочно приговорен к расстрелу томским губернским народным судом, но смог избежать гибели. Позднее вспоминал, что «меня не могли разыскать... в непроходимой сибирской тайге... Три раза приезжали большевистские отряды для розысков меня, и каждый раз уезжали ни с чем». В 1925—1930 гг. жил на Кавказе. Эмигрировал в Румынию.

[12] *Меньшиков Михаил Осипович* (1859, Новоржев — 1918, оз. Валдай) — консервативный публицист, общественный деятель, идеолог русского националистического движения.

Окончил Техническое училище морского ведомства в Кронштадте. Участвовал в морских экспедициях, отчеты о которых принесли ему известность в литературных и общественных кругах. Печатался в специальных морских изданиях, постоянный корреспондент и ведущий публицист газет «Неделя» и «Новое время» с 1901 г. по 1917 г.

Идеолог русского национализма. Поднимал темы русской национальной самобытности, становления и развития самосознания русской нации, духовности и бездуховности русских, народного пьянства. Известен как обличитель еврейской эксплуатации простого народа. Утверждал, что Россия «внедрила в себя инородческие элементы в гораздо большем количестве, чем дозволяет структура государства». Инициатор создания Всероссийского национального союза (1908), в основе которого лежали правонационалистические идеалы.

После Февральской революции подвергался гонениям. В сентябре 1918 г. арестован ВЧК, расстрелян на берегу Валдайского озера на глазах его шестерых детей.

[13] Трагическая гибель адмирала Колчака, которой предшествовало предательство представителей союзного командования и чехословаков, содействовала героизации его имени. Служивший в колчаковской армии и проделавший Великий Сибирский поход генерал В.А. Кислицын характеризовал адмирала как «рыцаря Белой Мечты, пламенного русского патриота», который погиб «смертью героя, погиб одинокий, вероломно преданный теми, кому он так доверял во всем и даже доверил свою собственную жизнь».

Характерно стремление В. Иванова отделять Колчака от колчаковщины.

[14] *Брусилов Алексей Алексеевич* (1853, Тифлис — 1926, Москва) — военачальник, военный педагог, генерал от кавалерии (1912), генерал-адъютант (1915). Участник Первой мировой войны.

Окончил Пажеский корпус (1872). На командных должностях. Участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Был широко известен как выдающийся знаток кавалерийской езды. В Первую мировую войну командующий армией (1914), главнокомандующий Юго-Западным фронтом (1916).

В июне 1916 г. совершил успешное наступление Юго-Западного фронта, использовав принципиально новую тактику,— знаменитый Брусиловский прорыв. После Февральской революции присягнул Временному правительству. В мае — июле 1917 г. Верховный главнокомандующий русской армии. С 1920 г. в Красной армии. После начала советско-польской войны весной 1920 г. обратился к кадровым офицерам старой армии во имя защиты родины вступать в Красную армию. Председатель Особого совещания при главнокомандующем всеми вооруженными силами Советской Республики. Главный инспектор кавалерии РККА (1923—1924).

[15] *Врангель Петр Николаевич,* барон (1878, Новоалександровск, Ковенская губ.— 1928, Брюссель) — военачальник, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, один из главных лидеров Белого движения, генерал-лейтенант.

Командующий Добровольческой армией, Кавказской армией Вооруженных сил Юга России с января 1919 г. Находился в оппозиции к Главнокомандующему генералу А.И. Деникину, чьи действия, по его мнению, привели к панической эвакуации Новороссийска и к развалу армии «от пьянства и грабежей». После отставки Деникина Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России (март — май 1920 г.), Русской армией (май — ноябрь 1920 г.). Отказался координировать военные действия против Красной армии с польскими властями.

Личное мужество лихого кавалериста и полководческий талант сочетались у Врангеля с широтой политического кругозора. Пытаясь укрепить социальную базу Белого движения, он проводил в Крыму в аграрном и рабочем вопросах «левую политику правыми руками». Запоздалая попытка не дала результатов, Белое движение было обречено.

С ноября 1920 г. в эмиграции в Турции, Югославии, Бельгии. Создатель и председатель Русского общевоинского союза (1924 г.). Предположительно отравлен агентом НКВД.

[16] *Лебедев Дмитрий Антонович* (1882, Саратовская губ.— 1928, Шанхай) — генерал-майор. Военный министр Российского правительства (1919). Участник Русско-японской и Первой мировой войн.

Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1911). Боевой офицер. Один из организаторов Союза офицеров армии и флота (1917). Участвовал в выступлении генерала Л.Г. Корнилова, арестован, бежал на Дон, в Добровольческую армию. Послан Корниловым в Сибирь с небольшим отрядом как представитель Добровольческой армии.

В Сибири был активным участником прихода к власти адмирала Колчака. Начальник штаба Ставки Верховного главнокомандующего. С января 1919 г. генерал-майор. С мая 1919 г. военный министр колчаковского правительства. Окружил себя молодыми офицерами, не допуская в Ставку опытных штабистов, вступал в конфликты с военачальниками, активно вмешивался в гражданские дела.

Вместе с генералом К.В. Сахаровым был автором плана Челябинской операции (1919 г.). После ее неудачи был смещен со всех постов. Общественное мнение считало его одним из виновников поражений белой армии. В ноябре назначен командующим Отдельной Степной группой войск на правах командующего армией. Участник Великого Сибирского Ледяного похода.

В Приморье занимал генеральские должности, был директором Русского Восточного кадетского корпуса, командиром Урало-егерского отряда.

Эмигрировал в Китай, жил в Шанхае, основатель и редактор газеты «Русская мысль».

[17] *Лохвицкий Николай Александрович* (1867, СПб. губ.— 1933, Париж) — военачальник, генерал-лейтенант, участник Белого движения в Сибири.

Брат поэтессы Мирры (Марии Александровны Лохвицкой) и писательницы Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой).

Окончил Константиновское военное училище (1889) и Академию Генерального штаба (1900). Участник русско-японской и Первой мировой войн. Награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. С февраля 1915 г.— генерал-майор. С 1916 г. — командир 1-й Особой пехотной бригады, направленной (через Владивосток и Суэц) на французский театр военных действий. За боевые отличия в боях во Франции награжден командорским крестом ордена Почетного легиона и орденом Св. Георгия 3-й степени (1917).

С 1917 г.— генерал-лейтенант. Участвовал в подавлении мятежа солдат экспедиционного корпуса, требовавших возвращения на родину. До июля 1918 г. был командиром русской военной базы в Лавале, активно занимался созданием русского легиона во Франции. С 1919 г.— в составе армии Колчака, командовал 1-й и 2-й армиями. В апреле — августе 1920 г. командующий Дальневосточной армией. В октябре 1920 г. вышел с 3-м корпусом Дальневосточной армии из подчинения атаману Семенову и признал главнокомандующим российскими вооруженными силами генерала П.Н. Врангеля. Именно об этом упоминает В. Иванов.

С конца 1920 г. в эмиграции. Был близок к великому князю Кириллу Владимировичу.

[18] *Нокс А.—У.—Ф.* (1870, Ольстер — 1964, Англия) — британский генерал-майор, дипломат.

В 1911—1918 гг. военный атташе Великобритании в России. В 1914—1918 гг. при Ставке Верховного главнокомандования русской армии. Работал в тесном сотрудничестве с британским послом в России Джорджем Бьюкененом. Был свидетелем Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде и захвата Зимнего дворца. Бегло говорил по-русски.

Начальник Английской военной миссии в Омске (1918 г.), заведовал поступающим из Великобритании снабжением для Восточного фронта Русской армии, организовал школу подготовки офицерского состава с британскими инструкторами. Остро конфликтовал с генералом Жаненом, который, по его мнению, не соответствовал посту Главнокомандующего союзными войсками в Сибири.

[19] Объединив под своим началом Добровольческую и Донскую армии, генерал А.И. Деникин летом 1919 г. развернул успешные операции против Красной армии. Им была издана директива, где ставилась задача овладения Москвой. Деникинское наступление выдохлось к октябрю 1919 г. По мнению Врангеля, неудача наступления белых на Москву коренилась в казачьем сепаратизме («крамола на Кубани») и в грабительских действиях таких белых генералов, как А.Г. Шкуро.

[20] *Рябиков Павел Федорович* (1875—1932, Чехословакия) — генерал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, Белого движения в Сибири.

Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1901). Боевой офицер. С 1906 г. служил в Главном управлении Генштаба. Во время Первой мировой войны в разведотделении штабов 2-й армии и Северного фронта. С декабря 1917 г. на штабной работе в Красной армии. Участник Белого движения на Восточном фронте с лета 1918 г. С мая 1919 г. генерал-квартирмейстер Ставки, начальник штаба Восточного фронта. Участник Великого Сибирского Ледяного похода.

С марта 1920 г. представитель атамана Г.М. Семенова в Китае и Японии. В эмиграции жил сначала в Китае, с 1927 г. в Чехословакии. Преподавал в Русском народном университете в Праге, член учебного комитета Высших военно-учебных курсов генерала Н.Н. Головина. Признан крупным специалистом в области теоретических разработок по организации агентурной разведки. В современной исторической публицистике можно встретить утверждение, что он служил четырем режимам, стоял у истоков двух спецслужб.

[21] *Устрялов Николай Васильевич* (1890, СПб.— 1937, Москва) — русский правовед, философ, политический деятель, идеолог сменовеховства, теоретик национал-большевизма.

Окончил юридический факультет Московского университета. Преподавал в Московском (1917—1918 гг.) и Пермском университетах. С 1918 г. в Омске. Юрисконсульт управления делами Временного российского правительства; председатель Восточного бюро ЦК кадетской партии в Омске; директор «Русского бюро печати» при управлении делами Верховного правителя и Совета министров. Редактор официозной газеты «Русское дело» (с октября 1919 г.). С начала 1920 г. жил в Харбине. Редактор газеты «Новости дня» (1920—1934 гг.), начальник учебного отдела КВЖД (1925—1928 гг.).

В эмиграции вел активную общественно-политическую деятельность, много писал. Провозгласив необходимость и неизбежность «смены вех», считал большевиков единственной силой, способной восстановить могущество России, призывал эмиграцию поддерживать советскую власть. Выпустил книгу «В борьбе за Россию». В переписке с одним из идеологов евразийства П.П. Сувчинским утверждал: «Да, национал-большевизм, несомненно, соприкасается с евразийством. Но разница между нами в том, что судьба сделала из меня более политического публициста, чем философа национальной культуры. Вы, евразийцы, далеки от непосредственных и текучих злоб дня. Вы куёте большую

идеологию, расположившись в стороне от политических битв, базаров и суетни. Вы — в эмиграции и ориентируетесь в лучшем случае на завтрашний день. И по-своему вы правы и делаете нужное дело. Мне пришлось проделать иной путь. С первых же дней революции, попав в самую гущу практической политики, я заботился, естественно, прежде всего о средствах политической борьбы и непосредственно политического воздействия».

Идеи Устрялова получили своеобразную оценку И.В. Сталина, который на XIV съезде ВКП(б) в 1925 г. говорил, имея в виду его службу на КВЖД : «Он служит у нас на транспорте. Говорят, что он хорошо служит. Ежели он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении партии, мечтать у нас не запрещено». После продажи СССР КВЖД Японии в 1935 г. вернулся в СССР, на преподавательской работе.

В 1937 г. арестован, обвинен в шпионаже и контрреволюционной деятельности. Расстрелян.

[22] *Клерже Георгий Иосифович* (1883, Эриванская губ.— 1938, Шанхай) — генерал-лейтенант (1921), участник Белого движения.

Окончил Академию Генерального штаба (1909). Секретный сотрудник и резидент в Тегеране во время Первой мировой войны. В 1917 г. командовал шахской казачьей дивизией, два полка под его командованием перешли на сторону советской власти. В 1918 г. занимал ответственные посты у красных в Баку и Тифлисе. Осенью 1919 г. прибыл в Ставку А.В. Колчака, назначен помощником начальника Главного штаба. Возглавлял Осведомительный отдел Верховного главнокомандующего (Осведверх), по характеристике В. Иванова, «удивительно никчемное учреждение». Отстав от отступающих колчаковских частей, был схвачен красными, но сумел бежать.

Начальник штаба атамана Г.М. Семенова. Эмигрировал в Маньчжурию. В Мукдене служил военным советником маршала Чжан Цзолина (1922—1927). Редактор ежедневной вечерней газеты «Мукден» (1931—1933).

Переехав в Харбин, работал в газете «Харбинское время».

В 1932 г. издал в Мукдене воспоминания «Революция и Гражданская война», где, в частности, отстаивал идею ориентации на военную помощь Японии: «Бесконечно путаясь в «ориентациях» и не находя прямого выхода из создавшейся трагической обстановки, адмирал А.В. Колчак даже свою собственную судьбу отдал не на попечение Японии, которая одна-единственная, по тому времени, могла оказать реальную помощь соответствующей вооруженной силой, а на попечение одновременно... всех великих держав. В результате такой «политики» его литерный поезд, разукрашенный флагами пяти великих держав, самым простейшим способом был передан в руки прямых и открытых врагов адмирала, как Верховного правителя всея России.

В то время как в Иркутске происходила «передача» адмирала и золотого запаса в руки Политического центра, в соседней Забайкальской области находилась в полной боевой готовности вся 5-я японская дивизия во главе с генералом Судзуки. В течение времени меньше чем через сутки передовые части этой дивизии, находившиеся в городе Верхнеудинске, могли появиться в пределах Иркутского района, принять на себя полную охрану Верховного правителя и доставить его в ту же Забайкальскую область для дальнейшего продолжения, совместно с японцами, вооруженной борьбы против большевиков. Ведь эту же самую борьбу японцы вели весьма интенсивно уже после гибели адмирала в Забайкальском и Приморском районах, помогая войскам атамана Семенова и последующего Приамурского (Меркуловского) правительства!»

В 1936 г. выслан японскими оккупационными властями из Маньчжурии. Жил в Шанхае, занимался поставками угля, затем в Тяньцзине. В 1938 г. арестован японской жандармерией, расстрелян. Обстоятельства ареста и гибели Клерже неясны.

[23] *Дидерихс (Дитерихс) Михаил Константинович* (1874, СПб.— 1937, Шанхай) — военачальник, генерал-лейтенант. Участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Один из руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке. Правитель Приамурского края в 1922 г.

Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1900 г.). Служил на штабных должностях. Участвовал в боевых действиях в 1904—1905 гг. После Русско-японской войны — при штабе в Московском и Киевском военных округах.

Во время Первой мировой войны начальник штаба 3-й армии Юго-Западного фронта, который в марте 1916 г. возглавил генерал Брусилов. Участвовал в разработке Брусиловского прорыва. Начальник штаба Чехословацкого корпуса (1918 г.), с которым прошел до Владивостока. 1 — 22 июля 1919 г. командующий Сибирской армией, 22 июля —17 ноября командующий Восточным фронтом и начальник штаба Колчака. Наряду с Д.В. Болдыревым был инициатором создания летом-осенью 1919 г. добровольческих формирований — «Дружин Святого Креста» и «Дружин Зеленого Знамени». В сентябре 1919 г. разработал и успешно провел последнюю наступательную операцию Российской армии адмирала Колчака — Тобольский прорыв. В результате разногласий с А. В. Колчаком, который настаивал на необходимости любой ценой оборонять Омск, ушел в отставку.

После поражения белых в конце 1919 г. эмигрировал в Харбин, позже — в Шанхай. Председатель Дальневосточного отдела Русского общевоинского союза. Автор книги «Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале».

[24] *Голицын Владимир Васильевич* (1878, Волынская губ.— ?) — военачальник, генерал-лейтенант. Участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Участник Белого движения на Дону и в Сибири. Участник Ледяного похода Добровольческой армии.

Окончил Александровское военное училище (1897 г.). Командирован в Заамурский округ Отдельного корпуса пограничной стражи (с 1900 г.). Участвовал в подавлении боксерского восстания в Китае (1900—1901 гг.). Служил в Ставке Верховного главнокомандующего генералом для поручений и входил в окружение генерала Корнилова. Участвовал во взятии белыми Екатеринбурга. В июле 1918 г. был прикомандирован к штабу Уральского корпуса войск Временного Сибирского правительства. Назначен командующим гарнизоном города Екатеринбург. Инициировал своим приказом первое военное расследование убийства большевиками царской семьи.

Командир 3-го Уральского корпуса горных стрелков (январь — июнь 1919 г,), начальник добровольческих формирований при штабе Верховного главнокомандующего (сентябрь — декабрь 1919 г.). С июня 1919 г.— начальник всех добровольческих формирований (в том числе Дружин Святого Креста и Зеленого Знамени) в Новониколаевске. С июля 1919 г. командовал Уральской группой Русской армии. С марта 1920 г. жил в Маньчжурии. Один из основателей Российской фашистской партии в Китае.

[25] *Адрианов Александр Васильевич* (1854, Белозерская волость, Тобольская губ.— 1920, Томск) — этнограф, путешественник, археолог, ботаник, ученик и соратник идеологов сибирского областничества Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева, с которыми сблизился в годы учебы в Петербургском университете.

Член Императорского Русского географического общества с 1879 г. Участвовал в экспедициях в Монголию, на Алтай и в Саяны. Награжден медалью ИРГО.

С 1880 г. служил в губернских учреждениях Томска, Минусинска, Красноярска, Иркутска, одновременно занимаясь археологическими раскопками. Первооткрыватель Енисейских писаниц. Статский советник с 1913 г

Редактор томской газеты «Сибирская жизнь», сотрудничал в газетах «Сибирь» и «Восточное обозрение». Гласный Томской городской думы. Входил в состав Си-

бирской областной думы, членом Комиссии по национальным делам.

По обвинению в антисоветской агитации расстрелян.

[26] *Тэффи* (Надежда Александровна Лохвицкая, по мужу Бучинская; 1872, СПб.— 1952, Париж) — писательница, поэтесса, мемуаристка, переводчица. После революции эмигрировала. Сестра поэтессы Мирры Лохвицкой и генерала и одного из вождей Белого движения в Сибири Н.А. Лохвицкого.

[27] *Пепеляев Виктор Николаевич* (1885, Томская губ.— 1920, р. Ушаковка близ Иркутска) — деятель сибирского областничества, депутат IV Государственной думы, Председатель Совета министров в Российском правительстве у Верховного правителя адмирала Колчака. Брат генерала А.Н. Пепеляева.

Окончил юридический факультет Томского университета (1909 г.). Преподавал историю в Бийской женской гимназии.

В 1912 г. депутат Государственной думы от партии кадетов. 15 января 1914 г. на Первом учительском съезде в Санкт-Петербурге выступил с предложением снабдить сибирских инородцев бесплатными начальными школами с начальным образованием на их языках. Во время Первой мировой войны работал на фронте во главе 3-го Сибирского санитарного отряда, организованного Земско-городским союзом и прикомандированного к 11-й Сибирской стрелковой дивизии, в рядах которой сражался его брат А.Н. Пепеляев.

Приветствовал Февральскую революцию. Комиссар Временного правительства в Кронштадте (март — май 1917 г.). В Кронштадте ему удалось освободить большую часть из арестованных матросами офицеров и внести некоторое успокоение в матросские ряды. Он указывал Временному правительству на необходимость ареста матросских главарей, по наущению которых был убит адмирал Вирен и другие офицеры, и использования во-

енной силы для ликвидации Кронштадтского совета, но поддержки у Временного правительства не нашел.

Весной 1918 г командирован в Сибирь от партии кадетов. Председатель Восточного отдела ЦК кадетов (с ноября 1918 г.). Призывал к установлению военной диктатуры, активно противостоял кадетско-либеральным министрам колчаковского правительства. Товарищ министра и министр внутренних дел Временного российского правительства (1918—1919 гг.), с 22 ноября 1919 г. председатель Совета министров.

Арестован вместе с Колчаком. Расстрелян.

[28] *Жардецкий Валентин Александрович* (1884, Архангельск — 1920, Омск) — адвокат, журналист, председатель Омского комитета Партии народной свободы.

Окончил юридический факультет Московского университета (1909 г.). С 1906 г. член Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Присяжный поверенный. Во время Первой мировой войны работал в Омском и Западно-Сибирском комитетах Всероссийского союза городов. Весной 1917 г. член Омского коалиционного комитета общественной безопасности, председатель Омского комитета кадетской партии. Гласный Омской городской думы. Председатель Западно-Сибирского комитета Всероссийского союза городов.

Редактор газеты «Сибирская речь», основатель Омского «Национального блока», советник адмирала Колчака (1918—1919 гг.), член Государственного экономического совещания (1919 г.).

В январе 1920 г. арестован большевиками, расстрелян.

Бутов Тарас Васильевич (1887—1967) — экономист, эсер, один из организаторов борьбы против большевиков в Томске.

До революции служил в Министерстве продовольствия и снабжения. Участник работы Западно-Сибирского комиссариата (с июня 1918 г.). Участвовал в работе 1-го совещания политических и общественных деятелей Сибири для выработки государственного устройства

после ухода из Омска большевиков. Член Временного Сибирского правительства по Министерству продовольствия и снабжения (1918 г.). Товарищ главного управляющего делами Верховного правителя и Совета министров в правительстве Колчака. Один из основных учредителей акционерного предприятия «Русского общества печатного дела» (РОПД; с мая 1919 г.). Внес 500 тыс. рублей в его фонд. Эмигрировал. Жил в Харбине с 1920 г. Заведующий отделом Коммерческой части КВЖД. После Второй мировой войны переехал в США.

[29] *Яковлев (Дунин) Павел Дмитриевич* (1891, Москва — 1924, Москва) — эсер, управляющий Иркутской губернией.

В 1906 г. сослан в Сибирь за активное участие в эсеровской террористической деятельности. После Февральской революции, как бывший политкаторжанин, был избран председателем губернского Совета крестьянских депутатов и губернского земельного комитета (1917 г.); иркутский губернский комиссар и управляющий Иркутской губернией (1918 —1919 гг.). С установлением власти А.В. Колчака создал в Иркутске параллельные контрразведке, лично ему подчиненные охранные органы. Яковлев освобождал или смягчал наказания арестованным большевикам, часть пленных красноармейцев набрал в отряд особого назначения, во главе которого поставил офицеров-эсеров.

В феврале 1920 г. выехал в Маньчжурию. Жил в Харбине с марта 1920 г. по август 1922 г. под фамилией Дунин. Начальник разведывательного управления Народно-революционной армии Дальневосточной республики. Позднее вернулся в СССР. Экономист в «Экспертхлебе». В 1924 г. арестован ОГПУ и расстрелян.

[30] *Коробов Александр Иванович* (1881 — после 1946) — журналист и врач. Окончил юридический и медицинский факультеты Казанского университета. Адвокат в Самаре. Кадет. Земский врач. Участник Первой мировой войны. Начальник Бюро печати правительства

А.В. Колчака. Общественный деятель в эмиграции. Редактор газеты «Русское слово» («Русский голос») в Харбине. В ноте правительства СССР от 7 октября 1930 г. правительству Северо-Восточных провинций содержалось требование прекращения харбинскими газетами «открытых призывов к подготовке и совершению в отношении Советского государства бандитских действий» и, в частности, запрещения газеты «Русское слово». Близок к РОВС. Начальник исследовательского отдела представительства Министерства иностранных дел марионеточного государства Маньчжу-ди-го в Харбине. Преподавал в учебных заведениях. Арестован (1945). Умер в лагере, где работал врачом.

[31] *Матковский Алексей Филиппович* (1877—1920, Омск) — российский военный деятель, генерал-лейтенант.

Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1903 г.), ординарный профессор Академии Генерального штаба. Инспектор кавалерии Сибири (сентябрь 1918 г.), командующий Сибирской армией. С декабря 1918 г. командующий войсками Западно-Сибирского (Омского) военного округа. Военный комендант Омска (с сентября 1919 г.). Один из главных виновников панической и бездарной эвакуации Омска, когда Красной армии достались огромные запасы амуниции и провианта. Арестован частями Красной армии, расстрелян.

[32] *Михайловский Борис Михайлович* (1890, с. Черный Ануй, Бийский уезд — после 1927) — агроном.

Окончил Томский политехникум по агрономическому отделению (1912 г.). Служил землеустроителем. Пошел добровольцем на фронт Первой мировой войны, ранен. С 1916 г. адъютант в 39-м полку. После Февральской революции откомандирован в Томский губернский земельный комитет, где занимался формированием новых волостных земельных органов. Председатель Томской уездной земельной управы (1918 г.), помощник томско-

го губернского комиссара, управляющий Томской губернии (1919—1920 гг.).

В Харбине в 1920—1922 гг. Участник Белого движения в Якутии (1922—1923 гг.). Арестован, в 1927 г. отправлен на Соловки.

Гаттенбергер Александр Николаевич (1861, с. Юрушково, Тверская губ. — 1939, Сан-Франциско) — земский деятель, один из лидеров сибирского областничества.

Мировой судья, нотариус при Тобольском окружном суде, инспектор «Страхового общества Россия» во Владивостоке.

После Февральской революции входил в окружение лидера сибирского областничества Г.Н. Потанина и был его ближайшим сотрудником. Томский губернский комиссар (1918 г.). Комиссар Временного правительства (1917 г.) и Временного Сибирского правительства (1918 г.) в Томской губернии. Управляющий Министерством внутренних дел Временного всероссийского (с 4 ноября 1918 г.) и министр внутренних дел Российского правительства (18 ноября 1918 г. — 29 апреля 1919 г.). Постоянно конфликтовал с Военным министерством и другими учреждениями колчаковского правительства. По характеристике П.В. Вологодского, «был всегда человеком мнительным, щепетильным к своей личности и считался человеком тяжелым для работы в коллегии». В феврале 1920 г. эмигрировал на японском военном поезде в Китай, с 1922 г. жил в США.

[33] Серафим Саровский имел обыкновение всех приходящих к нему в любое время года приветствовать словами «Христос воскресе!» Ему же принадлежат слова: «Будет такое время на Руси, когда ангелы не будут успевать принимать души умирающих». Иванов имеет в виду, что бесславное падение Омска, которое стало прелюдией к Великому Сибирскому походу, произошло глубокой осенью и тем самым явилось свидетельством правдивости предсказаний Серафима Саровского.

[34] *Пепеляев Анатолий Николаевич* (1891, Томск—1938, Новосибирск) — военачальник, генерал-лейтенант. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Сибирский областник. Брат колчаковского премьер-министра Российского правительства В.Н. Пепеляева.

Окончил Омский кадетский корпус (1908) и Павловское военное училище (1910 г.). В годы Первой мировой войны боевой офицер, командир конной разведки. В этой должности он отличился под Праснышем и Сольдау. В 1917 г., незадолго до Февральской революции, был произведен в капитаны. После Октябрьской революции Совет солдатских депутатов батальона, которым командовал Пепеляев, избрал его командиром батальона, что свидетельствовало об особом уважении солдат к кадровому офицеру. После Брест-Литовского мира переехал в Томск. Участвовал в антибольшевистском движении. Один из организаторов вооруженного восстания против советской власти в Сибири (май 1918 г.). Командир 1-го Средне-Сибирского корпуса, задачей которого было освобождение Сибири от большевиков. Были взяты Красноярск, Иркутск, Верхнеудинск. Западнее Читы войска Пепеляева соединились с забайкальскими казаками Семенова. Отличался безупречной храбростью, сражался на передовой, личным примером воодушевляя войска.

Командующий Северной группой войск Сибирской армии (с апреля 1919 г.); 1-й Сибирской армией (август — декабрь 1919 г.). В период Великого Сибирского похода постоянно конфликтовал с высшим военным руководством, требуя его замены.

С апреля 1920 г. жил в Харбине. Работал плотником, извозчиком, грузчиком и рыболовом. Создал «Воинский союз» для борьбы с большевиками. Участник Якутского антибольшевистского восстания, командир Сибирской добровольческой дружины (1922 —1923 гг.).

В июне 1923 г. был взят в плен, приговорен к 10 годам тюрьмы, где работал плотником, стекольщиком и столяром. Был временно освобожден в 1936 г., отправлен в Воронеж, где работал краснодеревщиком. В 1937 г. арестован, отправлен в Новосибирск, в 1938 г. расстрелян.

[35] *Сахаров Константин Вячеславович* (1881, Оренбург — 23 февраля 1941, Берлин) — генерал-лейтенант. Участник Русско-японской войны, Первой мировой и Гражданской войн. Видный деятель Белого движения в Сибири. Супруга Сахарова-Поленова, Екатерина Васильевна, дочь художника В.Д. Поленова.

Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1908). Участвовал в Первой мировой войне, в 1916—1917 гг. исправляющий должность начальника штаба 3-й Финляндской стрелковой дивизии, затем служил в Ставке Верховного главнокомандующего. Полковник. Был награжден георгиевским оружием. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени. Участвовал в работе Московского совещания в августе 1917 г. как представитель Союза георгиевских кавалеров. С приходом к власти большевиков отправился на Дон к генералу Л.Г. Корнилову в Добровольческую армию, был арестован, бежал из тюрьмы, добрался до Уфы, где поступил в войска Уфимской директории. Генерал для поручений при штабе Верховного правителя (с марта 1919 г.). Представитель генерала Деникина в Ставке адмирала Колчака (январь — май 1919 г.). Начальник штаба Западной армии (с мая 1919 г.); командующий Западной армией (с 22 июня 1919 г.; позже переименована в 3-ю армию). С 10 октября 1919 г. командующий Московской группой армий Восточного фронта, образованной из 3-й армии, Оренбургской армии и Степной группы, с сохранением командования 3-й армией. 4 ноября 1919 г. был назначен главнокомандующим армиями Восточного фронта. Неудачно пытался организовать оборону Омска от наступающих красных и не обеспечил его планомерную эвакуацию.

Был арестован и смещен с должности братьями В.Н. и А.Н. Пепеляевыми, служебное расследование было отложено до окончания Гражданской войны. Участник Великого Сибирского Ледяного похода. Перед своей смертью генерал В.О. Каппель официально освободил его из-под ареста (23 января 1920 г.). Назначен командующим отступающими в Забайкалье частями 3-й армии.

В марте 1920 г. эмигрировал в Японию, недолго жил в США. По его инициативе в Нью-Йорке было образовано Русское национальное общество, в которое вошли правые общественные деятели. В октябре 1920 г. прибыл в Германию, принимал участие в монархическом движении. Придерживался профашистских взглядов, считал, что «если пристально вглядеться в стимулы, двигавшие белыми, то в них выступает все то же, что создает самый фашизм в других странах». С 1935 г. был полномочным представителем атамана Г.М. Семенова в Европе.

[36] *Семенов Григорий Михайлович* (1890, ст. Дурулгуевская, Забайкальская обл.—1946, Москва) — казачий атаман, деятель Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант.

В 1911 г. окончил Оренбургское казачье юнкерское училище. Проходил службу в Забайкалье. В Первую мировую войну служил в Нерчинском казачьем полку, которым командовал П.Н. Врангель. С июня 1917 г.— комиссар Временного правительства Забайкальской области по формированию добровольческих ударных батальонов. В начале 1918 г. организовал Особый маньчжурский отряд, который активно боролся с большевиками в Забайкалье. С октября 1918 г.— походный атаман Забайкальского и Дальневосточного казачьих войск. Первоначально не признал Колчака Верховным правителем, но в мае 1919 г. приказом последнего был назначен командиром 6-го Восточно-Сибирского армейского корпуса. В начале 1920 г. возглавил читинское правительство Российской Восточной окраины. В октябре 1920 г. бежал из Читы, его режим рухнул.

В эмиграции жил в Китае, на территории, подконтрольной Японии. Активно сотрудничал с японскими властями. Вокруг фигуры атамана происходили постоянные дрязги, его авторитет неуклонно падал. В 1919 г. захватил два вагона золотого запаса Российского государственного фонда, депонировал его в Государственном банке в Чите, часть сумм отправил в Японию, где

депонировал их в японском банке на имя военного атташе посольства России в Японии генерала Подтягина. Советское правительство требовало возвращения этих денег как собственности СССР, но в 1929 г. японские власти выдали их Подтягину, поддержав тем самым антисоветскую деятельность белой эмиграции. Приветствовал японскую оккупацию Маньчжурии и изъявил готовность создавать вооруженные отряды из эмигрантов, что привело к активизации антисоветских действий на линии КВЖД. Разработал «россизм» — теорию государственного устройства России, практически полностью заимствованную из идеологии итальянского и немецкого фашизма. При этом утверждал, что необходимо взять «из национал-социализма лишь то, что полезно, не быть слепыми подражателями, могущими послужить во вред нашей родины».

В августе 1945 г. он был арестован советской контрразведкой, судим и приговорен к смертной казни.

[37] *Жанен Морис* (1862, Париж — 1946, Сан-Себастьян, Испания) — французский военный деятель и дипломат, участник Гражданской войны в России.

Окончил Французскую академию Генерального штаба (1892 г.). Дивизионный генерал (1916 г.). В 1891—1892 и в 1910—1911 гг. стажировался в России, причем второй раз — при Императорской Николаевской академии Генерального штаба.

С весны 1916 г. возглавлял чрезвычайную французскую военную миссию в России при Ставке Верховного главнокомандующего русской армии. В конце 1917 г. отозван во Францию. В августе 1918 г. назначен командующим войсками Антанты в России. С ноября 1918 г.— начальник французской военной миссии при правительстве адмирала А.В. Колчака, главнокомандующий чехословацкими войсками в России.

В декабре 1919 г. поддержал восстание против колчаковского правительства в Иркутске. Санкционировал выдачу Колчака эсеровскому Политическому центру,

что привело к расстрелу Колчака. В 1920 г. вернулся во Францию.

В оправдание своих действий, которые подвергались критике как в кругах белой эмиграции, так и среди западных политиков, писал: «Конечно, чехи чувствовали глубокое отвращение и омерзение к диктатору и режиму, установленному им в Сибири. Возможно, что положение улучшилось бы, если бы, вопреки хорошо известному отношению их правительства к Колчаку,— Массарик прозвал его самозванцем (авантюристом),— я постарался бы расположить их к последнему.

Но мне, командующему ими и отвечавшему за их честь и жизни, казалось преступным жертвовать пятьюдесятью тысячами храбрецов, истощенных войной и лишениями, ради удовольствия и выгоды пройдох, спекулянтов и грубых реакционеров, собравшихся в Омске и представлявших прежнюю Россию. Я выделяю самого Колчака, ответственность с которого снималась его нервным заболеванием. Впрочем, чувства, которые, как я сказал выше, воодушевляли чехов, разделялись всеми прозорливыми и свободомыслящими людьми, которые видели преступления, ложившиеся на ответственность омского правительства; длинный ряд убийств, который развертывался, начиная с уфимских учредиловцев в декабре 1918 г. до иркутских заложников, утопленных в Байкале в январе 1920 г.; бесстыдное взяточничество министров и их свиты; кражи интендантства и администрации, мотовство генералов, грабежи, жертвой которых являлось трепещущее население, полицейские зверства, возведенные в систему, и, наконец, преследование всех тех, кого подозревали в несочувствии правительству и которых причисляли по этой причине к большевикам».

Не в последнюю очередь Жанен руководствовался в своих поступках откровенной неприязнью к адмиралу Колчаку и представлением, которое он выразил в дневнике: «Все русские — неблагодарные создания».

Стремление Жанена представить Колчака как диктатора следует сопоставить со словами В. Иванова: «Если

покойный генерал и мыслил диктатуру, то единственно в форме не насилования чужой воли, а в виде ее зажигания, увлечения с собой. Зажигание русской воли!»

Сыробоярский Александр Владимирович (1889, Харьковская губ.— 1946, Лейквуд, США) — военачальник, генерал-майор, участник Первой мировой и Гражданской войн.

Окончил Офицерскую артиллерийскую школу и Офицерскую автомобильную школу (1915 г.). Участник Первой мировой войны, доблестный офицер. В 1917 г. произведен в капитаны, с назначением командиром 30-го броневого автомобильного отделения. В январе 1917 г. награжден Георгиевским оружием за храбрость. В годы Гражданской войны был начальником автоброневого соединения уполномоченного на Дальнем Востоке генерала Д.Л. Хорвата; представителем атамана Г.М. Семенова при Верховном главнокомандующем адмирале Колчаке. Участник Сибирского Ледяного похода. В 1919 г. произведен в генерал-майоры с назначением управляющим военным и морским ведомством правительства Российской Восточной окраины, председателем Совета управляющих ведомствами Российской Восточной окраины. Начальник тыла Дальневосточной армии.

С 1922 г. эмигрировал в Китай. С 1923 г. жил в США.

[38] *Сыровый (Сыровы) Ян* (1888, Тршебич, Моравия — 1971, Прага) — командир чехословацких легионов в России, чехословацкий политический и военный деятель.

В начале Первой мировой войны добровольно вступил в русскую армию как рядовой. В составе Чешской дружины воевал на Юго-Западном фронте. Дослужился до офицера. В 1918 г. командующий 2-м Чехословацким корпусом, Западным фронтом. С августа 1918 г. по сентябрь 1920 г. командующий Чехословацким корпусом. Наряду с генералом Жаненом руководил эвакуацией войск союзников в Сибири. Принял решение о выдаче иркутскому эсеровскому Политцентру адмирала А.В. Колчака, что было прямым актом предательства.

По возвращении в Чехословакию в разные годы занимал посты военного министра, начальника Генерального штаба и генерал-инспектора Чехословацкой армии. Премьер-министр Чехословакии во время подписания Мюнхенского договора в 1938 г.

14 мая 1945 г. был арестован и обвинен в сотрудничестве с оккупантами. В 1947 г. Национальный суд признал его виновным и приговорил к двадцати годам лишения свободы. Освобожден по амнистии в 1960 г.

Вопрос о судьбе российского золотого запаса необычайно сложен. Интересны сведения, которыми располагал генерал Д.В. Филатьев, осенью 1919 г. бывший помощником Верховного главнокомандующего А.В. Колчака по части снабжения: «Кстати, о золоте. Генерал Жанен еще в Омске предлагал адмиралу взять золото под свою охрану и гарантию и вывезти его на восток. Адмирал на это предложение отвечал: «Я лучше передам его большевикам, чем вам. Союзникам я не верю». Этот без надобности слишком грубый ответ был по существу, может быть, и правилен, так как персональная и единоличная гарантия Жанена не могла почитаться достаточной. Возможно, что при том ходе событий, какой они приняли в Сибири, золото поступило в подвалы банков союзников и пошло бы в счет русских долгов. Но ничто не мешало Колчаку потребовать совместной гарантии союзных правительств, что золото не будет ни в каких обстоятельствах ими реквизировано. Во всяком случае, странно, что Колчак предпочитал в крайнем случае передачу золота большевикам. Когда оно действительно к ним попало, то именно через золото они могли укрепить свою власть и раскинуть коммунистические сети на весь мир. Это нетрудно было и тогда предвидеть, и надо было принять действительные меры, чтобы золотой запас не перешел в руки большевиков. Да только Колчак не обладал ни каплей дара предвидения и, благодаря своей импульсивности, действовал вопреки самому простому расчету».

[39] *Швец Йозеф* (1883—1918) — полковник Чешского легиона. В 1910-х гг. был учителем гимнастики в Таганроге. С началом Первой мировой войны записался добровольцем в армию, прошел путь от рядового до командира полка.

Застрелился 25 октября 1918 г. после того, как 1-й Чешский полк, которым он командовал, вышел из подчинения. По свидетельству чешского писателя Франтишека Лангера (1888—1965), бывшего при Й. Швеце полковым врачом, в письме, найденном после его смерти, говорилось: «Я не могу пережить этот позор, который покрыл нашу армию. Все лучшее в нас, наша честь, уничтожено».

В записках ротмистра В.А. Зиновьева «В рядах армии Верховного правителя» (Прага, 1927) о Й. Швеце сказано, что он, не имея специального военного образования, всегда тонко и умело разбирался в боевой обстановке, отличался незаурядной храбростью и «колоссальной волей, которая передавалась его солдатам».

Несмотря на то, что полк Й. Швеца вынес постановление «Не выступать», как только весть о самоубийстве полковника распространилась среди солдат, чехи выступили и молниеносным натиском отбросили красных.

[40] *Павлу Богдан* (1883, Спешов, Бланско, Моравия — 1938, Нови-Град) — чехословацкий журналист, политик и дипломат.

Изучал право в университетах Праги, Вены и Будапешта. Во время Первой мировой войны в России. Редактор периодических изданий на чешском языке в Петрограде и Киеве. Член Российского филиала Чехословацкого национального совета (1917—1918). Дипломатический представитель Чехословацкой республики в России при Омской директории и Колчаке (1918—1919). Наряду с Сыровы был олицетворением враждебного отношения чехословаков к Колчаку и возглавляемому им Белому движению.

В 1920—1922 гг. редактор газеты в Братиславе. Посланник Чехословацкой Республики в Болгарии (1922—

1926), Дании (1927—1933). После установления в 1934 г. дипломатических отношений между Чехословакией и СССР — первый посланник Чехословакии в СССР (1934—1937).

После возвращения из Москвы работал в Министерстве иностранных дел Чехословакии. Погиб в автокатастрофе при не выясненных обстоятельствах.

Суждения о роли Чехословацкого корпуса в дни Великого Сибирского Ледяного похода разноречивы. Уместно сопоставить два разновременных свидетельства. Генерал Д.В. Филатьев в работе «Катастрофа Белого движения в Сибири» писал: «Было бы крайней недобросовестностью и явно неумным переносить на весь чешский народ преступления, совершенные в Сибири маленькой горсточкой этого народа, именовавшейся «чешскими легионами», заброшенными в далекую нашу окраину и развращенными нашей же революцией. Но столь же неумно и малопорядочно было бы замалчивать содеянное чехами, и особенно их старшими начальниками, которые обязаны были поддерживать порядок среди них и не позволять им вести себя бандитами в дружественной и союзной стране, встретившей чехов с распростертыми объятиями».

Спустя полвека рядовой участник событий В. Варженский с горечью констатировал: «Большую часть своего пути армия двигалась вдоль полотна железной дороги и только изредка, и то вынужденно, отклонялась от своего прямого направления. Поэтому мы были живыми свидетелями того, как в классных вагонах с комфортом ехали чехи. Они ехали в направлении Иркутска, увозя с собой много награбленного русского добра. Чехи, онемеченные славяне, алчно захватывали все, что попадалось им под руку и имело какую-либо ценность. Они везли мебель, рояли, какие-то товары и даже русских женщин... Но не многие из последних добрались до Владивостока. На Китайско-Восточной железной дороге чехи под предлогом, что идет контроль, не разрешающий их дальше везти, прятали

своих подруг в мешки и на ходу поезда выбрасывали их из вагонов.

Мы не могли забыть, что эти чехи — недавние наши враги, затем наши военнопленные Первой мировой войны, потом вынужденные наши союзники, которые предательски ушли с фронта на Волге и Каме в числе чуть ли не 40 тысяч и обнажили наши фланги, что дало возможность противнику угрожать нашему тылу. Все это, вместе взятое, дополненное привилегированным положением этих господ в данный момент, вызывало бессильную злобу и горькое оскорбление национальных чувств, которое доходило до ненависти. Самодовольные, сытые, уверенные в превосходстве своих сил, они цинично смотрели из окон классных вагонов на изнуренных, голодных, плохо одетых и бессильных настоящих хозяев земли русской — участников трагического Ледяного похода. Подобное явление могло случиться только в небывалое лихолетье в нашей истории, и кто виновник этих стыдных страниц ее — когда-нибудь скажет справедливый строгий судья — сам русский народ!»

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878, Пенза — 1943, Нью-Йорк) — политический деятель, лидер эсеровской партии, публицист, деятельный революционер. После Февральской революции — председатель Всероссийского совета крестьянских депутатов. В августе—сентябре 1917 г. министр внутренних дел (3-й состав Временного правительства). Председатель Демократического совещания и Временного совета Российской республики (Предпарламента). Соратник А.Ф. Керенского. Депутат Учредительного собрания. С сентября 1918 г. председатель Директории, претендовавшей на роль всероссийского демократического правительства. После переворота Колчака выслан за границу. Один из основателей и редакторов журнала «Современные записки» (1920—1940). Умер в эмиграции.

Зензинов Владимир Михайлович (1880, Москва — 1953, Нью-Йорк) — политический деятель, лидер эсеровской партии.

Учился в Германии, где четыре с половиной года пробыл в университетах Берлина, Галле и Гейдельберга, занимаясь философией, экономикой, историей и правом. В 1903 г. вступил в партию эсеров. В январе 1904 г. вернулся в Россию. 9 января 1905 г., во время массовых арестов в Москве, был арестован, выслан в Архангельск. Бежал из ссылки в Швейцарию, в октябре 1905 г. тайно возвратился в Россию. С 1905 г.— член ЦК партии эсеров. Участник Декабрьского вооруженного восстания в Москве. Член боевой террористической организации. В 1906 г. арестован, выслан в Восточную Сибирь, отправлен по этапу в Якутск. Летом 1907 г. бежал через тайгу в Охотск (1500 верст), через Японию, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Коломбо и Суэцкий канал вернулся к декабрю 1907 г. в Европу и далее в Москву. В мае 1910 г. вновь сослан в Сибирь, на побережье Ледовитого океана. В ссылке занимался этнографией и орнитологией. Написал работы: «Старинные люди у холодного океана» и «Очерки торговли на севере Якутской области», получившие высокую оценку специалистов.

В 1914 г. возвратился в Москву. Издавал в Москве «Народную газету». После Февральской революции 1917 г. член ЦК партии эсеров, член исполкома Петроградского совета, член ВЦИК. В ноябре 1917 г. депутат Учредительного собрания. Входил в состав Комуча. Был членом Временного всероссийского правительства. После прихода к власти адмирала Колчака выслан в Китай. В январе 1919 г. через Японию прибыл в Париж. Занимался литературно-журналистской и политической деятельностью.

В эмиграции в Нью-Йорке издавал журнал «За свободу». Сотрудничал в «Новом русском слове», «Новом журнале», «Социалистическом вестнике».

[41] В. Иванов эмоционально судит интриганов, у которых «национальные интересы миллионных народов» оказывались переплетенными с личными интригами.

О деятельности профессора русского языка и русской литературы Ливерпульского университета Берн-

гарда Перса известно немного. В качестве корреспондента английских газет профессор Перс подолгу жил в России и с симпатией относился к российским либералам. После 1905 г. неоднократно высказывал членам Государственной думы свои соображения о необходимости культурного сближения двух стран и народов. Важной формой достижения цели он считал обмен визитами между научными и промышленными кругами. В годы Гражданской войны его пребывание в России и, в частности, в Омске, несомненно, имело разведовательно-осведомительную направленность.

Взвешенную оценку деятельности «союзников» в контексте их отношения к Верховному правителю России А.В. Колчаку дал Д.В. Филатьев: «Что касается до «союзников», которых у нас нередко обвиняют в вероломстве и эгоизме, то тут как будто кроется недоразумение. Забывают, что в действительности никаких «союзников» у нас не было со дня подписания Брест-Литовского мира. Союз возобновился на короткое время в Сибири, когда чехи были двинуты из Владивостока на Урал, и он вновь кончился 11 ноября 1918 года, в день подписания перемирия. Начиная с этого дня, у Колчака не было союзников, но еще находились «сочувствующие», главным образом полковник Нокс. Название же «представители союзников» употреблялось по старой памяти и отнюдь не соответствовало действительности. Чехи, коих было большинство, думали только о том, чтобы поскорее выбраться из Сибири домой. Для этого надо было быть уверенным в непрерывности движения по железнодорожной магистрали. Они ее захватили в свои руки и повели себя как в завоеванной стране, пользуясь нашей слабостью и невозможностью силой противостоять их разнузданности. Горе побежденным!»

Итоговые выводы Д.В. Филатьева: «Когда по приходе поезда в Иркутск Колчаку объявили, что он будет выдан революционному правительству, он схватился за голову и воскликнул: «Значит, союзники меня предают!» Это восклицание было криком наболевшей души,

вполне понятным в положении несчастного адмирала, но едва ли оно соответствовало действительности. В самом деле, о каких союзниках могла идти речь. Ведь ни одно правительство, в лице своего высокого комиссара, не давало гарантии в безопасности адмирала. Если бы подобная гарантия была дана, то она и была бы, несомненно, выполнена, так как на измену своему слову союзные правительства никогда не пошли бы. Да и самое предательство, как ненужная жестокость, не имело цели, а несмываемым пятном на правительства ложилось бы. Предавали Колчака вовсе не союзники, а чехи, и только одни чехи, а союзники, в лице их комиссаров и военных миссий, оставшихся еще в Иркутске, лишь умывали, как Пилат, руки и не сделали даже попытки, чтобы удержать чехов от задуманной ими низости. Из всех союзников лишь один генерал Жанен принял непосредственное участие в выдаче адмирала».

[42] *Смирнов Михаил Иванович* (1880, СПб. — 1937, Лондон) — контр-адмирал Сибирской флотилии (1918).

В 1914 г. окончил Николаевскую морскую академию. Боевой морской офицер. Прошел путь от младшего флаг-офицера до адмирала, служил на Тихом океане, Черном и Средиземном морях. Осенью 1914 г. направлен на британский флот для активизации связи между союзниками. В 1916 г.— капитан 1-го ранга, флаг-капитан адмирала Колчака. С апреля по июль 1917 г.— начальник штаба Черноморского флота Российской империи. Покинул пост вместе с уходом Колчака.

В 1917—1918 гг.— начальник Морского отдела Русского заготовительного комитета в США, с прикомандированием к русскому посольству в Вашингтоне. С ноября 1918 г.— управляющий Морским министерством в российском правительстве. Командовал речной флотилией на Каме. Произведен Колчаком в чин контр-адмирала.

В эмиграции жил в Англии. В 1930 г. издал в Париже книгу «Адмирал Александр Васильевич Колчак (Крат-

кий биографический очерк)» с целью сбора средств для получения образования Р.А. Колчака, сына адмирала Колчака.

Сукин Иван Иванович (1890 — неизвестно, США) — министр иностранных дел в правительстве А.В. Колчака в 1918—1919 гг., дипломат.

Окончил Александровский лицей в 1911 г. Служил при Министерстве иностранных дел. В 1914 г. помощник секретаря российского посольства в Константинополе. В 1917 г. секретарь русской миссии в Вашингтоне. В сентябре 1917 г. участвовал в съезде русских эмигрантов в Америке.

В 1918 г. в Ставке Колчака, откуда фактически руководил внешней политикой Омского правительства. Начальник дипломатической канцелярии при Ставке Верховного главнокомандующего. С декабря 1918 г.— министр иностранных дел правительства Колчака, один из ближайших помощников Верховного правителя. Его политика привела к разрыву дипломатических отношений Омского правительства с Японией. Ушел в отставку в конце 1919 г. Эмигрировал в Китай. С 1920 г. жил в США. Банкир.

Интересно свидетельство прекрасно осведомленного Г.К. Гинса, который был управляющим делами Совета министров и канцелярии Верховного правителя: «Видным политическим новичком был Сукин. Этот молодой человек, несмотря на свои 28 лет, успел уже побывать во Франции, Италии, Греции, Галиции и Америке и с низших дипломатических должностей поднялся до секретаря русской миссии в Вашингтоне, куда поехал в 1917 г. в качестве дипломатического чиновника, прикомандированного к Бахметьеву. В Омске Сукина называли «американским мальчиком». Перед его приездом из Владивостока было получено предупреждение, что Сукин держится определенно американской ориентации и своей тенденциозностью, при свойственных ему способностях и умении освещать факты в желательном направлении, может оказаться человеком вредным».

Гойер Лев Викторович, фон (1875, Минск — 1939, Париж) — правовед, финансист, действительный статский советник, писатель.

Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Финансовый агент российского правительства в Пекине. Член Государственного экономического совещания. С 1919 г. министр финансов в Омском правительстве А.В. Колчака. При Гойере началась неконтролируемая продажа российского золотого запаса за границу. В январе 1920 г. бежал из Иркутска через Забайкалье в вагоне американского Красного Креста, переодевшись поваром. В эмиграции в Китае. Директор Русско-Азиатского банка в Маньчжурии и в Шанхае (до 1926 г.). Позже жил в Париже. Банкир, рантье. Автор работ о Дальнем Востоке. Сотрудничал в журнале «Иллюстрированная Россия», газете «Возрождение».

[43] Сведения В. Иванова о трагической гибели С. Ауслендера были неверными.

[44] *Шестаков Николай Яковлевич* (1894, с. Барышская Слобода, Алатырский уезд.— 1974, Москва) — публицист, поэт, писатель и драматург.

Учился на историко-филологическом факультете Казанского университета (1914—1918). Сотрудник газеты «Наша газета» в Омске (с 1918 г.). После установления советской власти в Сибири работал в сфере внешкольного образования в городе Новониколаевске (позже Новосибирск), с 1921 г.— журналист в Москве.

Автор многочисленных пьес для детей и юношества. Его пьесы были в репертуаре провинциальных и московских театров в 1930—1970-х гг.

[45] *Лембич Мечислав Станиславович* (1890, Бендеры — 1932, Шанхай) — журналист. Писал под псевдонимами «Ветерок залетный»; «Залетный»; «В.»; «М. Л.»; «Олаф»; «Цвятковский М.».

Во время Первой мировой войны стал известен как военный корреспондент, автор серии статей и очерков в газете «Русское слово» под общим заголовком «Среди врагов» и «В тылу у неприятеля». За репортажи с передовой получил боевую награду — Георгиевскую медаль, приколотую ему на грудь собственноручно Николаем II. После Октябрьской революции в белой армии. С 1920 г. в Харбине. Основал крупнейший на Дальнем Востоке эмигрантский газетный концерн и издательство «Заря». Выпускал газеты «Заря» (1920, ежедневная), «Рупор», «Шанхайская Заря» (1925), «Наша Заря» (1928, Тяньцзинь). Создал отделение издательства «Заря» в Париже. Газеты Лембича призывали читателей отнестись к эмиграции как к долговременной ситуации, не надеясь на скорейшее возвращение к старому порядку.

[46] *Каппель Владимир Оскарович* (1883, Царское Село, СПб. губ.— 1920, Утай, близ ст. Тулун около Нижнеудинска, Иркутская губ.) — военачальник, генерал-лейтенант, участник Первой мировой и Гражданской войн, один из руководителей Белого движения в Сибири.

Окончил Николаевское кавалерийское училище (1903) и Академию Генерального штаба (1913). С начала Первой мировой войны в действующей армии. Штабной офицер. Осенью 1917 г. оставил службу.

С лета 1918 г. активный участник офицерских формирований, боровшихся с большевиками на Волге. В июле ударный сводный русско-чешский отряд под его командованием взял Симбирск. Назначен командующим войсками антибольшевистской Народной армии. В августе взял Казань, где находился золотой запас Российской империи. Признанный герой Белого движения.

В ноябре 1918 г. признал власть Верховного правителя Колчака, произведен в генерал-майоры. Командир Волжского армейского корпуса, который при отступлении колчаковских войск действовал в арьергарде, сдерживая наступление Красной армии. С ноября 1919 г.— генерал-лейтенант. В середине ноября был назначен

командующим 3-й армией. С декабря — главнокомандующий белыми войсками в Сибири.

В январе 1920 г. вывел остатки армии из окружения под Красноярском и вместе с ней совершил тяжелейший Ледяной поход. Получил тяжелое обморожение. 21 января сдал командование войсками генералу С.Н. Войцеховскому, спустя пять дней умер.

В последние дни жизни Каппель продиктовал обращение к сибирским крестьянам: «За нами с запада подвигаются советские войска, которые несут с собой коммунизм, комитеты бедности и гонения на веру Иисуса Христа. Где утверждается советская власть, там не будет трудовой крестьянской собственности, там в каждой деревне небольшая кучка бездельников, образовав комитеты бедноты, получит право отнимать у каждого все, что им захочется. Большевики отвергают Бога, и, заменив Божью любовь ненавистью, вы будете беспощадно истреблять друг друга».

Участники Ледяного похода с гордостью называли себя каппелевцами.

[47] *Манкевич Александр Иванович*, член правления Торгово-промышленного комитета, управляющий информационным бюро Совета министров Временного российского правительства и отделом печати при Верховном правителе (с декабря 1918 г.).

[48] *Пругавин Александр Степанович* (1850, Архангельск — 1920, Красноярск) — публицист, этнограф, исследователь раскола русской церкви.

В 1869 г. поступил в Московскую Петровскую земледельческую и лесную академию, был отчислен за участие в студенческих волнениях, привлекался по процессу «нечаевцев» с запретом жить в столицах. В 1871 г. выслан в Архангельскую губернию. Жил попеременно в Архангельске и Воронеже, где организовал народнический кружок. Служил мелким чиновником.

Годы жизни на Севере активизировали интерес к русскому сектантству и расколу. Публиковал статьи о

расколе в «Новом времени», «Русском курьере», «Русской мысли», «Вестнике Европы», «Русских ведомостях», «Историческом вестнике» и др. Статья «Еретики» («Голос», 1880) привлекла общественное внимание к заключенным в тюрьме суздальского монастыря старообрядческим епископам и известному мистику Адриану Пушкину, проведшему 15 лет на Соловках. При содействии великого князя Константина Николаевича после статьи Пругавина узники были освобождены.

В своей публицистической и научной деятельности ратовал за безусловную веротерпимость. Одна из его книг, «Раскол внизу и раскол вверху. Очерки современного сектантства», была уничтожена после выхода по постановлению Комитета министров Российской империи (1882).

В 1917 г. переехал в Уфу, затем в Омск. Сотрудничал с Белым движением в Сибири, работал в колчаковских газетах. В марте 1920 г. был арестован большевиками. Умер в Красноярской тюрьме от сыпного тифа.

[49] *Арнольд Николай Владимирович* (1895, Симбирск — 1963, Москва) — второстепенный поэт Серебряного века, журналист. Потомок поэта-сатирика начала XIX в. С.Н. Марина, чьи произведения издавал в советское время.

Окончил Казанское военное училище. Участник Первой мировой войны. Военный корреспондент и литературный сотрудник газеты «Утро Сибири» и других колчаковских изданий. По окончании Гражданской войны работал в Государственном литературном музее, ближайший сотрудник основателя и первого директора музея В.Д. Бонч-Бруевича.

[50] *Архиепископ Андрей* (в миру Александр Алексеевич, князь Ухтомский; 1872, Рыбинский уезд, Ярославская губ.— 1937, Ярославль) — епископ Русской православной церкви, один из основателей и вождей катакомбной церкви в СССР, автор термина «истинно-православные христиане». Канонизирован.

Выходец из знатного княжеского рода Ухтомских, восходящего к князю Рюрику.

Окончил Московскую духовную академию (1895 г.). Принял постриг в 1895 г. Занимался миссионерской деятельностью в Осетии, Сухуми, Казани. С 1913 г. епископ Уфимский и Мензелинский. Придерживался правомонархических взглядов. Активно сотрудничал в общественно-политических журналах, был редактором-издателем миссионерского журнала «Сотрудник Братства святителя Гурия» («Сотрудник Приволжской миссии»), Казань. Председатель Восточно-русского культурно-просветительского общества, созданного им в Уфе в 1916 г. Основал при обществе журнал «Заволжский летописец».

Поддержал Февральскую революцию, считая, что она будет способствовать освобождению церкви от давления со стороны государства. В 1917 г. вошел в состав Святейшего Синода. Участник Поместного собора 1917—1918 гг., активно участвовал в совещаниях по воссоединению со старообрядцами. Член Сибирского временного высшего церковного управления (1918 г.), руководил духовенством 3-й армии Колчака. После разгрома белых арестован. Освобожден в 1922 г., в том же году — архиепископ Томский. Возвратился в Уфу, активно выступал против обновленческого движения.

В 1922—1937 гг. периодически арестовывался, подвергался высылке. Осуждался как властями, так и иерархами церкви (за лояльность к старообрядцам). Обвинялся в организации нелегальных православных общин (катакомбной церкви), которые были против советского закона, в агитации и пропаганде против большевизма. Весной 1937 г. расстрелян.

[51] *Белов Петр Андреевич* (Виттенкопф Генрих Альфредович; 1881, Курляндия — после 1945, вероятно, Харбин) — русский военачальник, генерал-майор. Участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Участник Белого движения в Сибири.

Окончил Академию Генерального штаба (1913).

Занимал командные должности. Во время Первой мировой войны служил при штабе. В июне — ноябре 1918 г. начальник штаба Сибирской армии; в январе — феврале 1919 г. — штаб Русской армии. В марте — июне 1919 г. командующий Южной группой войск Западной армии; с июня по октябрь 1919 г.— Южной армией. С октября 1919 г.— помощник военного министра по мобилизационно-организационной части, неудачно руководил эвакуацией Омска.

В 1920 г. переехал в Китай, жил в Харбине.

[52] *Андогский Александр Иванович* (1876, Новгородская губ.— 1931, Харбин) — генерал, начальник Николаевской военной академии.

Окончил юридический факультет Петербургского университета (1898), Николаевскую академию Генерального штаба (1905). Штатный преподаватель военных наук Николаевской военной академии (1911—1914 гг.).

Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Участвовал в военных действиях в 1914—1916 гг. Правитель дел Николаевской военной академии (с начала 1917 г. Профессор академии). Участвовал в мирных переговорах с немцами в Брест-Литовске.

В марте 1918 г. академия была эвакуирована в Казань. В июле 1918 г. перешел на сторону белых (вместе с большей частью личного состава академии). В 1919—1922 гг. занимал должности 1-го генерал-квартирмейстера Ставки Главнокомандующего адмирала Колчака; первого помощника начальника штаба Верховного главнокомандующего. Руководил эвакуацией академии во Владивосток (на остров Русский). В 1922 г.— городской голова Владивостока. Уехал в Японию, где остался после захвата Владивостока красными.

Позже уехал в Маньчжурию. С 1923 г. жил в Харбине. Покончил жизнь самоубийством.

[53] *Войцеховский Сергей Николаевич* (1883, Витебск — 1951, Иркутская обл.) — генерал-майор, участник Первой мировой войны и Белого движения в Сибири.

В годы Первой мировой войны занимал различные штабные должности. С 1916 г. подполковник. С августа 1917 г. начальник штаба 1-й Чехословацкой дивизии в составе русской армии. С декабря 1917 г. командир 3-го чехословацкого имени Яна Жижки стрелкового полка. Принимал активное участие в борьбе чехословацких войск с большевиками.

С марта 1919 г. в войсках Колчака, генерал-майор. Командующий 2-м Уфимским корпусом. С августа 1919 г. командующий Уфимской группой войск. С октября 1919 г. командующий 2-й армией. Успешно вывел свои войска из окружения под Красноярском 5—6 января 1920 г. 25 января 1920 г., после смерти генерала В.О. Каппеля, сменил его на посту главнокомандующего Восточным фронтом. Вывел остатки колчаковских войск в Забайкалье. После окончания похода, генерал Войцеховский учредил Знак отличия Военного ордена «За Великий Сибирский поход». Знаком награждались все солдаты и офицеры, прошедшие Великий Сибирский Ледяной поход.

20 февраля 1920 г. генерал Г.М. Семенов назначил его командующим войсками Российской Восточной окраины. В мае 1920 г. командирован в Крым для связи с Вооруженными Силами Юга России, находился в резерве армии генерала П.Н. Врангеля. В эмиграции в Чехословакии. В 1945 г. арестован контрразведкой СМЕРШ. Умер в лагере.

[54] *Зиневич Бронислав Михайлович* (1874, Оренбург — не раньше 13 февраля 1922 г., вероятно, Омск) — участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн. Генерал-майор.

Окончил Казанское пехотное юнкерское училище (1895 г.). После революции уволен из армии, уехал в Сибирь. В белых войсках Восточного фронта; с июня 1918 г.— командир 1-го Енисейского стрелкового полка, с июля 1918 г.— начальник 2-й стрелковой дивизии Средне-Сибирского корпуса Временного Сибирского правительства.

С конца 1919 г. командующий войсками Красноярского гарнизона и Енисейской губернии. В декабре 1919 г. возглавил мятеж в Красноярске. Вел переговоры о перемирии с красными и требовал того же от отступающих белых войск под командованием В.О. Каппеля. Участники Великого Сибирского похода единодушно оценивали его действия как предательство и измену. Перешел на службу в Красную армию, помощник инспектора пехоты при помглавкоме по Сибири. В ноябре 1921 г. за службу в армии Колчака арестован. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ниже В. Иванов подробно пересказывает «классические переговоры» о мире генерала-предателя с красным комиссаром Грязновым.

Грязнов Глеб Петрович (1883, Каменец-Подольск — 1958, Москва) — окончил мариупольскую гимназию (1905), поступил в Харьковский университет, был отчислен за участие в революционном движении. С 1902 г. в РСДРП. Окончил юридический факультет Петербургского университета в 1909 г. Служил в Петербурге на Николаевской железной дороге, с 1913 г. на Московско-Казанской железной дороге в Коммерческом отделении. Один из организаторов Красной гвардии на железной дороге. С марта 1919 г. на Восточном фронте, в штабе которого занимал различные руководящие должности. Начальник продовольственного снабжения фронта. С августа 1922 г. последовательно заместитель военного прокурора фронта, военный прокурор 5-й армии, Северо-Кавказского военного округа. В дальнейшем на адвокатской работе.

Калашников Николай Сергеевич (1884, Минусинск —1961, Нью-Йорк) — политический деятель, эсер, участник Первой мировой и Гражданской войн. Американский журналист и писатель.

Учился в Санкт-Петербургском университете. Участвовал в эсеровском терроре, скрывался за границей. С началом Первой мировой войны поступил добровольцем в армию, прошел всю войну, подпоручик, впоследствии штабс-капитан. После Февральской революции заме-

ститель председателя Военного совета Иркутского гарнизона, помощник командующего Иркутским военным округом. Осенью 1918 г. начальник Осведомительного отдела штаба Сибирской армии. В 1919 г. возглавлял ячейку Сибирского союза эсеров, призывавшего к свержению власти А.В. Колчака. Участник антиколчаковского выступления в Иркутске, управляющий Военным министерством правительства Политического центра и командующий его Народно-революционной армией (декабрь 1919 г.— январь 1920 г.). Сыграл важную роль в судьбе адмирала Колчака.

В начале 1920 г. возглавлял Забайкальскую группу войск, в которую вошли рабочие дружины и добровольческие части Восточно-Сибирской советской армии. Вскоре подал в отставку, эмигрировал в Китай, с 1924 г. в США, где получил известность как литератор и публицист.

[55] *Хвостов Михаил Михайлович* (1872, Керчь — 1920, Томск) — историк Античности, кадет.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Его учителями были В.А. Шеффер, В.И. Герье, В.О. Ключевский, П.Н. Милюков.

Приват-доцент историко-филологического факультета Московского университета (1895—1900 гг.). С 1900 г. в Казанском университете как приват-доцент, экстраординарный профессор, с 1914 г.— ординарный профессор. С 1916 г. директор Высших женских курсов в Казани. С октября 1918 г. профессор по кафедре всеобщей истории в Томском университете. Умер от тифа.

[56] Описывая свое отступление в арьергарде колчаковских войск, когда по пятам за ним шел не щадящий никого «красный зверь», генерал В.А. Кислицын вспоминал: «Особенно большие жертвы вырвала из рядов белых тайга. Многие лошади выбились там из сил. Бросались сани с различным скарбом, орудия, зарядные ящики. Оставленные сани, орудия и проч. загромождали дорогу. Получался затор, объехать который на груже-

ных санях, да еще на обессиленных от плохого корма и огромных переходов лошадях, многим не представлялось возможным. Свернуть с дороги в глубокий снег — для многих означало окончание дальнейшего пути...

Часто в тайге переживались тяжелые драмы. Какая-нибудь семья, уходившая от красных сотни и даже тысячи верст, теряла где-нибудь в тайге свою выбившуюся из сил лошадь и вместе с нею право на жизнь. Сани таких несчастливцев отбрасывались с дороги в сторону, и мимо них проезжали вереницы людей, с которыми не так давно проводились ночлеги в переполненных людьми избах. Знакомые люди или смотрели на покидаемых с бессильной жалостью, или отвертывались в сторону, чтобы не видеть умоляющих взглядов тех, кого застигла в этом месте неумолимая судьба.

Несколько десятков минут — и обозная колонна знакомых людей сменялась людьми чужими. Эти смотрели на покидаемых уже более равнодушными глазами привыкших к таким жестоким картинам людей. Еще час-другой такой агонии семьи, еще час-два бесплодных попыток, и все было кончено. Белые проходили. Сзади надвигался красный ужас...

Тайга — это был ужас и гибель многих частей и беженцев. Тайга — это кладбище многих белых частей».

[57] *Щетинкин Петр Ефимович* (1884, с. Чуфилово, Рязанская губ.— 1927, Улан-Батор) — один из руководителей советского партизанского движения в Сибири во время Гражданской войны.

Из крестьянской семьи. В 1906 г. призван в армию. Во время Первой мировой войны произведен в офицеры, к 1917 г. штабс-капитан. Полный георгиевский кавалер, кавалер орденов Св. Станислава 2-й и 3-й степеней, Св. Анны 3-й степени, двух французских орденов.

После Октябрьской революции 1917 г. активно участвовал в установлении советской власти в Сибири. В марте 1918 г. вступил в РКП(б). С марта 1919 г. командующий Северо-Ачинской партизанской армией. В январе 1920 г. соединился с частями Красной армии,

командир бригады Енисейской стрелковой дивизии. В августе 1921 г. отряд под командованием Щетинкина пленил Р.Ф. Унгерн-Штернберга.

Рогов Григорий Федорович (1883—1920) — сибирский крестьянин, участник Русско-японской и Первой мировой войн, фельдфебель.

После Февральской революции примкнул к эсерам, впоследствии поддерживал большевиков и анархистов. В 1917 г.— член управы Алтайского земельного комитета. В 1918—1919 гг. возглавлял антиколчаковский партизанский отряд численностью до 5000 человек. Проводил удачные боевые операции, отличался крайней жестокостью к противникам и к мирному населению. В декабре 1919 г. арестован органами советской власти за бандитизм, находился в заключении до февраля 1920 г. Возглавил антибольшевистское восстание, при подавлении которого погиб.

[58] *Гайда Радола* (1892, Котор — 1948, Прага) — военачальник и чехословацкий политический деятель.

С начала Первой мировой войны в австро-венгерской армии, унтер-офицер. В 1915 г. перешел на русскую сторону, служил в чехословацком полку на Юго-Западном фронте. С весны 1918 г. командир Чехословацкого корпуса в Сибири, один из руководителей антибольшевистского выступления. Летом 1918 г.— командующий чехословацкими войсками восточнее Омска. С января 1919 г. в Русской армии Верховного правителя адмирала Колчака, командующий Сибирской армией. Генерал-лейтенант. Из-за разногласий с Колчаком уволен из Русской армии, лишен наград и генеральского чина. В ноябре 1919 г. возглавил владивостокский эсеровский мятеж против Колчака. С февраля 1920 г. в Чехословацкой армии, с декабря 1924 г. первый заместитель начальника Главного штаба. В 1926 г. обвинен в антиправительственных настроениях и шпионаже в пользу Советского Союза, уволен из армии. С 1927 г. лидер организации «Фашистское национальное сообщество».

По окончании Второй мировой войны находился в заключении до 1947 г.

[59] *Колосов Евгений Евгеньевич* (1879, Нерчинск — 1937, Омск) — общественный и политический деятель, эсер, историк революционного движения в России.

Окончил Томский технологический институт, был вольнослушателем юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Занимался революционной деятельностью в Санкт-Петербурге, Томске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Одессе, Сормове, Туле, Саратове. В 1905 г. член летучего отряда Боевой дружины, участвовал в Декабрьском вооруженном восстании в Москве. Член боевой группы Б.В. Савинкова. Делегат I и II съездов партии эсеров.

В 1907—1916 гг. жил во Франции и Италии, работал репортером, изучал творчество Н.К. Михайловского, став крупнейшим специалистом по его литературному наследию.

С начала Первой мировой войны стал сторонником оборонческой позиции. В 1916 г. вернулся в Россию, был задержан на границе и сослан в Енисейскую губернию. Стал одним из лидеров местного отделения партии эсеров, членом Красноярского совета рабочих и солдатских депутатов, членом Комитета общественной безопасности. Редактор газеты «Наш голос».

В конце июля 1917 г. назначен Временным правительством комиссаром города и крепости Кронштадт. В ноябре 1917 г. заочно избран членом Всероссийского учредительного собрания по списку партии эсеров от Енисейской губернии. В 1918—1922 гг. жил в Сибири, где вел активную политическую деятельность в пользу народовластия, был последовательным критиком колчаковского режима. Редактор журнала «Новое земское дело». Временно арестован органами ВЧК, позже служил в экономическом отделе Сибревкома.

С 1922 г. в Петрограде. Неоднократно арестовывался. В 1937 г. сослан в Тобольск, расстрелян в Омске.

[60] Ледяной поход по реке Кан был, наряду с переходом по льду Байкала, труднейшим этапом Великого Сибирского похода. Генерал Филатьев вспоминал: «Памятуя красноярский опыт, Каппель принял меры, чтобы вторая армия, по возможности, не встречалась с красными, и поэтому вскоре после Красноярска свернул с дороги и пошел по реке Кан. Получился небывалый в военной истории 110-верстный переход по льду реки, куда зимою ни ворон не залетает, ни волк не забегает, кругом сплошная непроходимая тайга. Мороз был до 35 градусов. Одно время мы попали в критическое положение, когда в конце пути наткнулись на горячий источник, бежавший поверх льда и обращавший его в кашу. Вереницы саней сгрудились у этого препятствия, так как лошади по размокшему льду не вытягивали, а обойти его не было возможности из-за отвесных берегов. Боялись, что лед рухнет под тяжестью такого количества саней и лошадей, но все обошлось благополучно, перебрались поодиночке, вылезая из саней. Промокшие валенки немедленно покрывались ледяной корой. Чтобы избегнуть воспаления легких, последние за рекою 10 верст пришлось идти пешком в пудовых валенках. На этом переходе Каппель схватил рожистое воспаление ноги и затем легких и вскоре скончался. Умерших во время перехода тифозных складывали прямо на лед и ехали дальше. Сколько их было, никто не знает, да этим и не интересовались, к смертям привыкли.

Этот легендарный Ледяной Сибирский поход сравнивают обычно с Ледяным походом Корнилова и даже считают его более трудным. Надо правду сказать, что такое сравнение, хотя и лестное для нас, шедших по Кану, совсем неправильно. Наше положение было неизмеримо легче корниловского, потому что мы не имели перед собою противника, нам не приходилось «пробиваться», а это коренным образом изменяло дело. Затем яркое солнце, полное безветрие позволяли легко переносить мороз, да и одеты все без исключения были в валенки и полушубки, никто, кроме

того, не шел пешком. У Корнилова было совсем иное положение, и нам не приходится равняться на его Ледяной поход».

[61] *Милович Дмитрий Яковлевич* (1870 — не ранее 1920) — военачальник, генерал-лейтенант. Участник Первой мировой войны.

Окончил Михайловское артиллерийское училище (1890). Боевой офицер, командовал конно-артиллерийскими частями, от батареи до бригады.

Участник Белого движения в Сибири. В декабре 1918 г. получил приказ о формировании 1-й кавалерийской дивизии Сибирской армии войск Колчака. Летом-осенью 1919 г. начальник отряда Северной группы 2-й армии. Участник Великого Сибирского Ледяного похода. В 1920 г.— генерал для поручений в войсках Дальневосточной армии, отчислен со службы в октябре 1920 г. В эмиграции в Югославии, где и умер.

[62] *Вержбицкий Григорий Афанасьевич* (1875, Летичев, Подольская губ.— 1942, возможно, 1941, Тяньцзинь, Китай) — генерал-лейтенант (1919), видный деятель Белого движения в Сибири. Участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн.

Окончил Одесское пехотное юнкерское училище (1897). Командир боевых подразделений во время войны. После Октябрьской революции уехал в Омск. Активный участник антибольшевистского офицерского восстания в июне 1918 г., начальник 1-й Степной Сибирской стрелковой дивизии. С 1918 г. произведен в чин генерал-майора Временным Сибирским правительством. В 1919 г.— командующий 3-м Степным Сибирским армейским корпусом Сибирской армии. Генерал-лейтенант. Уполномоченный правительства с правами генерал-губернатора в освобожденных районах Западной Сибири. Командующий Южной группой войск Сибирской армии.

Во время Великого Сибирского Ледяного похода начальник колонны, на правах командующего армией в составе Южной и Тобольской групп. В августе 1920 г.

командующий Дальневосточной армией. С мая 1921 г. командующий войсками Временного Приамурского правительства. В 1921—1922 гг. управляющий военно-морским ведомством с правами военного министра Временного Приамурского правительства.

В конце октября 1922 г. эмигрировал в Китай, жил в Харбине. С 1928 г.— председатель Русской национальной общины; помощник начальника Дальневосточного отдела Русского общевоинского союза; председатель комитета старшин Русского национального клуба. После оккупации Маньчжурии японскими войсками выслан в Тяньцзинь.

[63] *Перхуров Александр Петрович* (1876, с. Шерепово, Тверская губ.— 1922, Ярославль) — генерал-майор (1919). Участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн.

Вступил в Добровольческую армию, в марте 1918 г. был направлен генералом Л.Г. Корниловым в Москву с целью формирования добровольческих отрядов для борьбы с большевиками в Москве и Центральной России. Был начальником штаба тайной офицерской организации в Москве, входившей в состав «Союза защиты Родины и Свободы» Б.В. Савинкова.

Один из организаторов антибольшевистского восстания в Ярославле в июле 1918 г. Возглавил вооруженные силы восставших — Ярославский отряд Северной Добровольческой армии, стал главноначальствующим Ярославской губернии. Выступал против необоснованных обысков и арестов: «Приказываю твердо помнить, что мы боремся против насильников за правовой порядок, за принципы свободы и неприкосновенности личности».

После подавления восстания во главе отряда прорвался из Ярославля на восток, где вступил на службу в Народную армию Комитета членов Учредительного собрания (Комуч). Произведен адмиралом Колчаком в генерал-майоры за подготовку и руководство Ярославского восстания, получил почетное именование

Перхуров-Ярославский. С июля 1919 г. командовал летучими партизанскими отрядами 3-й армии в Сибири. Участвовал в Великом Сибирском Ледяном походе. Зимой 1920 г. под Красноярском получил приказ генерала С.Н. Войцеховского пробиваться за Байкал. Заблудился в тайге, в марте 1920 г. был взят в плен красными. В январе 1921 г. освобожден, взят как «военспец» в штаб Приуральского военного округа в Екатеринбурге. В мае 1921 г. вновь арестован по обвинению в руководстве Ярославским восстанием и отправлен в Москву. В июле 1922 г. осужден в Ярославле показательным судом, расстрелян.

Бангерский Рудольф Карлович (1878—1958) — генерал-лейтенант, участник Первой мировой войны и Белого движения в Сибири. Министр обороны Латвии (1924—1928), генерал-инспектор войск СС, группенфюрер СС с сентября 1943, президент Латвийского национального комитета (Потсдам, 1945).

Окончил Императорскую Николаевскую военную академию (1914). Боевой офицер. Участник Русско-японской войны. Принимал активное участие в создании латышских стрелковых полков в Усть-Двинске; командир 1-го латышского Усть-Двинского стрелкового батальона (с августа 1915 г.); 2-го Рижского (ноябрь—декабрь 1916 г.) и 4-го Видземского (январь—февраль 1917 г.) Латышских стрелковых полков; начальник штаба Сводной Латышской стрелковой дивизии в составе 6-го Сибирского армейского корпуса 12-й армии (декабрь 1916 г. — январь 1917 г.); командир 17-го Сибирского стрелкового полка 5-й Сибирской стрелковой дивизии 2-го Сибирского армейского корпуса (февраль 1917 г.— март 1918 г.).

Занимал командные посты в армии Колчака. В марте 1918 г. уволен из армии большевиками. После установления власти белых назначен исполняющим должность дежурного генерала штаба гарнизона Екатеринбурга (с июля 1918 г.). Участник Сибирского Ледяного похода. В июне 1920 г. постановлением совещания представителей башкир зачислен в списки почетных казаков Башкир-

ского войска. Командующий войсками Читинского района (август—октябрь 1920 г.). После оставления Дальневосточной армией Забайкалья через пустыню в Монголии добрался до Харбина.

Председатель созданного в Харбине Союза чинов Дальневосточной армии, позже переместившегося во Владивосток. Кружным путем к ноябрю 1921 г. добрался до Латвии.

В 1924—1930 гг. занимал командные должности, а с декабря 1924 г. по декабрь 1925 г. и с декабря 1926 г. по январь 1928 г. пост министра обороны Латвии. В 1936 г. вышел в отставку. После присоединения Латвии к СССР переехал в отдаленный хутор. С июля 1941 г. принял активное участие в деятельности пронацистской фракции А. Валдманиса. С апреля 1943 г. получил назначение на пост генерал-инспектора Латышского легиона СС. После отступления немцев осенью 1944 г. эвакуировался в Германию. В 1945 г. в Потсдаме избран президентом Латвийского национального комитета. 29 апреля 1945 г. за его подписью вышел приказ об освобождении всех латвийских воинов в Германии от немецкой присяги.

21 июня 1945 г. был арестован англичанами. 25 декабря 1945 г. освобожден. Не был выдан СССР, остался в Западной Германии.

Бордзиловский Антон Викентьевич (1876, Пермь — 1962, Принстон) — военачальник, генерал-лейтенант. Участник Гражданской войны и Белого движения.

Окончил Константиновское артиллерийское училище (1898 г.). Во время Первой мировой войны служил начальником охраны императорского дворца в Гатчине.

С июня 1918 г. помощник командира Тобольского добровольческого отряда и, затем, 6-го Степного Сибирского стрелкового полка в составе войск Временного Сибирского правительства.

В январе — сентябре 1919 г. командир 25-го Тобольского Сибирского стрелкового полка в составе 7-й Сибирской стрелковой дивизии Южной группы Сибирской армии адмирала Колчака. Осенью 1919 г. командовал 7-й Тобольской Сибирской стрелковой дивизией.

За боевые отличия во время наступления на Тобольск произведен в генерал-майоры лично Верховным главнокомандующим адмиралом Колчаком. Командующий Северной группой войск.

В эмиграции сначала проживал в Китае, в Харбине был председателем Общества кадетов-сибиряков и Офицерского союза в составе РОВС (1924—1930 гг.). Переехал в США, где был начальником отделения РОВС и старшим артиллерийской группы Союза служивших в Российской армии и флоте.

[64] Смысл выражения «Понужай» раскрыл В. Варженский: «После сдачи Омска моральное состояние воинских частей резко понизилось, и только немногие из них еще сохранили, и то относительно, свою дисциплину и какую-то боеспособность. Даже в самых стойких частях превалировала идея не борьбы с врагом, а личного спасения: как бы от врага поскорее уйти. Оставив позади себя опасную для нас преграду — Иртыш, который мы перешли по льду, замерзшему чуть ли не накануне нашей переправы, мы покатились к Красноярску, на Енисей.

Как в конце Первой мировой войны у солдат, уходящих с фронта, появилась своя, много говорящая фраза: «Крути, Гаврила»,— так и у нас было свое, не менее меткое выражение: «Понужай!» «Понужай», то есть «погоняй», в смысле «удирай». И здесь есть нескрываемая и горькая ирония над собственным не совсем благородным чувством низменного инстинкта человеческой натуры».

[65] *Щербаков Николай Михайлович* (1882—1937, Шанхай) — генерал-майор. Участник Русско-японской и Первой мировой войн.

Окончил Николаевскую академию Генштаба. Участвовал в походе против Китая 1900 г. Подполковник (1916). Начальник штаба 5-й Кавказской кавалерийской дивизии (1917). Полковник (1917). Май и сентябрь

1919 г.— начальник штаба 2-го Степного сибирского армейского корпуса. Генерал-майор (1919).

С 26 июня 1919 г. начальник общего отдела управления 1-го генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем А.В. Колчаке. С 10 октября 1919 г. заместитель войскового атамана Семиреченского казачьего войска. Член Военно-экономического общества в Омске. В 1920 г. генерал для поручений при командующем Дальневосточной армией.

Награжден знаком отличия военного ордена «За Великий Сибирский поход». Эмигрировал в Китай: Харбин (с 1920) и Шанхай (с 1925). Основатель и владелец книжного магазина и библиотеки «Русское дело» (с 1925). Умер в Шанхае.

[66] Неточная цитата из стихотворения П.А. Вяземского «Русский бог» (1828).

[67] Стих из 8-й главы «Евгения Онегина».

[68] *Кропоткин Алексей Алексеевич*, князь (1859, Москва, по другим сведениям Париж — 1947, Сан-Франциско) — публицист, помещик Казанской губернии, общественный и государственный деятель.

Член казанского губернского земства (1896); цивильско-ядринский уездный предводитель дворянства Казанской губернии (с 1914 г.). Товарищ председателя Всероссийского совета съездов торговли и промышленности; член Главного совета Союза земельных собственников (с 1917 г.); член Государственного экономического совещания (1919); член совета 1-го съезда несоциалистических организаций Дальнего Востока; председатель Народного собрания при Временном Приамурском правительстве (1921—1922); председатель Монархического центра в Харбине (с 1920 г.). С 1923 г. жил в США.

[69] *Окороков Александр Матвеевич* (1890 — не ранее 1923), предприниматель, политический деятель.

Окончил Томский технологический институт. Член народно-социалистической партии (энесы). До Февральской революции один из руководителей Алтайского союза кооперативов. С марта 1917 г. избран председателем Барнаульского комитета общественного порядка и безопасности, с июля алтайский губернский комиссар Временного всероссийского правительства. В конце 1917 г. член временной Сибирской областной думы. В июле — октябре 1918 г. управляющий ведомством продовольствия в Деловом кабинете Временного правителя России генерала Д.Л. Хорвата. С мая 1919 г. товарищ министра торговли и промышленности российского правительства; управляющий Министерством торговли и промышленности; министр торговли и промышленности российского правительства. В 1920 г. эмигрировал в Японию. В 1923 г. издавал выходивший в Токио на русском языке журнал «Экономический вестник».

[70] Речь идет об основополагающей идее романа В. Гюго «Девяносто третий год» —«величие и человечность революции».

[71] *Калмыков Иван Павлович* (1890, Грозненский округ, Терская обл.—1920, Гирин, Китай) — Войсковой атаман Уссурийского казачьего войска, участник Гражданской войны на Дальнем Востоке.

Окончил Духовную семинарию (1909) и Чугуевское военное училище (1912). Боевой офицер. После Февральской революции отчислен из действующей армии за жестокость к подчиненным. В январе 1918 г. 4-м Войсковым кругом Уссурийского казачьего войска избран войсковым атаманом. Весной 1918 г. объявил о создании Уссурийского особого казачьего отряда на КВЖД и мобилизации уссурийцев для борьбы с большевиками.

С февраля 1919 г. командир Уссурийского особого отряда, с сентября Уссурийской отдельной бригады, с января 1920 г. Сводной уссурийской отдельной дивизии. Контролировал железную дорогу от Никольска-Уссурийского до Хабаровска. Сотрудничал с японцами

и находился в конфликтных отношениях с командующим американскими экспедиционными силами генералом Грейвсом, войска которого охраняли Транссиб на участке от Владивостока до Никольска-Уссурийского.

В феврале 1920 г. оставил Хабаровск и по льду Уссури перешел на китайский берег. Незадолго до этого изъял из Хабаровского отделения Госбанка 38 пудов золота, тайно передав его японскому командованию. Арестован китайскими военными властями. Обвинен в присвоении 56 пудов золота и убийстве шведского и норвежского представителей Красного Креста. С помощью сотрудников русского консульства бежал, но при попытке сопротивления китайским военным был убит.

Унгерн-Штернберг Роман Федорович, барон (1886—1921) —деятель Белого движения в Забайкалье и Монголии, генерал-лейтенант. Участник Русско-японской войны (вольноопределяющийся).

Из старинного остзейского рода.

В 1908 г. окончил Павловское военное училище. Служил в Забайкальском казачьем войске. С началом Первой мировой войны воевал в Галиции. Неоднократно ранен. Служил в Нерчинском полку, где сблизился с Г.М. Семеновым. С конца 1917 г. служил под началом Семенова. С декабря 1918 г. командующий Туземным конным корпусом, затем преобразованным в Азиатскую конную дивизию, которой командовал в 1919—1921 гг.

С августа 1920 г. по лето 1921 г. действовал на территории Монголии, которая была занята китайскими войсками. Сыграл заметную роль в становлении независимого монгольского государства. Монголы видели в нем освободителя от китайской зависимости. После двух неудачных штурмов монгольской столицы Урги в октябре и ноябре 1920 г. предпринял решающий штурм города 4 февраля 1921 г. К этому времени Азиатская дивизия насчитывала не более 1500 человек. Китайский гарнизон города превышал численность дивизии в шесть-семь раз. В феврале-апреле войска Унгерна освободили всю Внешнюю Монголию.

Мечтал о восстановлении империи Чингисхана. Отличался крайней жестокостью. Мистик и фаталист. Принял буддизм, не отвергая основ христианства. Носил желтый халат, на котором были нашиты генеральские погоны. Был захвачен взбунтовавшимся монгольским дивизионом и передан красным партизанам, которыми командовал П.Е. Щетинкин. Судим в Новониколаевске, приговорен к смертной казни.

Казагранди Николай Николаевич (1886, Кяхта, Троицкосавский округ, Забайкальская область — 1921, Заин-Хурэ, Монголия) — полковник, видный деятель Белого движения в Сибири.

Во время Первой мировой войны — офицер русской армии, отличился в составе Ревельского морского батальона смерти при обороне Моонзунда на Балтийском море в 1917 г. Участвовал в деятельности тайной офицерской антибольшевистской организации, которая подняла восстание против большевиков в Сибири летом 1918 г. С апреля 1919 г.— командир 18-й Сибирской стрелковой дивизии. В июле был снят с поста из-за разногласий с командованием. Затем командовал отрядом во 2-й армии.

Во главе своего отряда присоединился к войскам барона Р.Ф. Унгерна фон Штернберга. Предложил план кампании против Красной армии, основанный на самостоятельных действиях нескольких отрядов,— сам Казагранди во главе своих подчиненных должен был наступать на Иркутском направлении. Отряд Казагранди, перешедший советскую границу, был разбит красной конницей и был вынужден отступить в Монголию.

Военные неудачи белых войск привели к росту конфликтов в их рядах, один из которых и привел к тому, что Унгерн отдал приказ казнить Казагранди.

[72] *Николай Николаевич*, великий князь (младший) (1856, СПб.—1929, Антиб, Франция) — первый сын великого князя Николая Николаевича (старшего), внук Николая I; генерал-адъютант (1904), генерал от кавалерии (1900).

Верховный главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами Российской империи в начале Первой мировой войны (1914—1915) и в марте 1917 г.; в 1915—1917 гг. наместник российского императора на Кавказе, главнокомандующий Кавказской армией и войсковой наказный атаман Кавказских казачьих войск.

[73] Автор переосмысливает и на свой лад углубляет известную мысль философа Вл. С. Соловьева, который иронизировал над вульгарно-материалистическими воззрениями российской интеллигенции. Ведя свое происхождение от обезьяны, интеллигент делал изумительный вывод: «да положим живот за други своя». Позднее, в 1931 г., В. Иванов написал работу «Философия Владимира Соловьева».

СОДЕРЖАНИЕ

На обложке: картина художника М. Б. Грекова
«Отступление корниловцев. 1926

Подписано в печать 28.04.2017.
Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Уч.-изд. л. 9,4. Тираж 500 экз.
Заказ № 11. Цена договорная.
Издательство: Государственная публичная
историческая библиотека России
ГСП 101990, Москва, Старосадский пер., 9, стр. 1.

ISBN 978-5-85209-406-3
9 785852 094063

Всеволод Никанорович Иванов (1888–1971), русский писатель, историк, культуролог, представитель евразийского движения. Как журналист начинал свою деятельность в дореволюционный период в Костроме и Перми. Во время Гражданской войны был журналистом в Омске, работал в Русском бюро печати – пропагандистском органе правительства Колчака, был редактором «Нашей газеты», редакционные филиалы которой открывал в Томске и Новониколаевске (Новосибирске). С наступлением Красной армии писатель вместе с тысячами беженцев находился в отступлении с запада на восток, участвовал в Великом Сибирском Ледяном походе, был свидетелем трагического завершения борьбы Белой армии на Восточном фронте

